



This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at <http://books.google.com/>



Это цифровая копия книги, хранящейся для потомков на библиотечных полках, прежде чем ее отсканировали сотрудники компании Google в рамках проекта, цель которого - сделать книги со всего мира доступными через Интернет.

Прошло достаточно много времени для того, чтобы срок действия авторских прав на эту книгу истек, и она перешла в свободный доступ. Книга переходит в свободный доступ, если на нее не были поданы авторские права или срок действия авторских прав истек. Переход книги в свободный доступ в разных странах осуществляется по-разному. Книги, перешедшие в свободный доступ, это наш ключ к прошлому, к богатствам истории и культуры, а также к знаниям, которые часто трудно найти.

В этом файле сохранятся все пометки, примечания и другие записи, существующие в оригинальном издании, как напоминание о том долгом пути, который книга прошла от издателя до библиотеки и в конечном итоге до Вас.

Правила использования

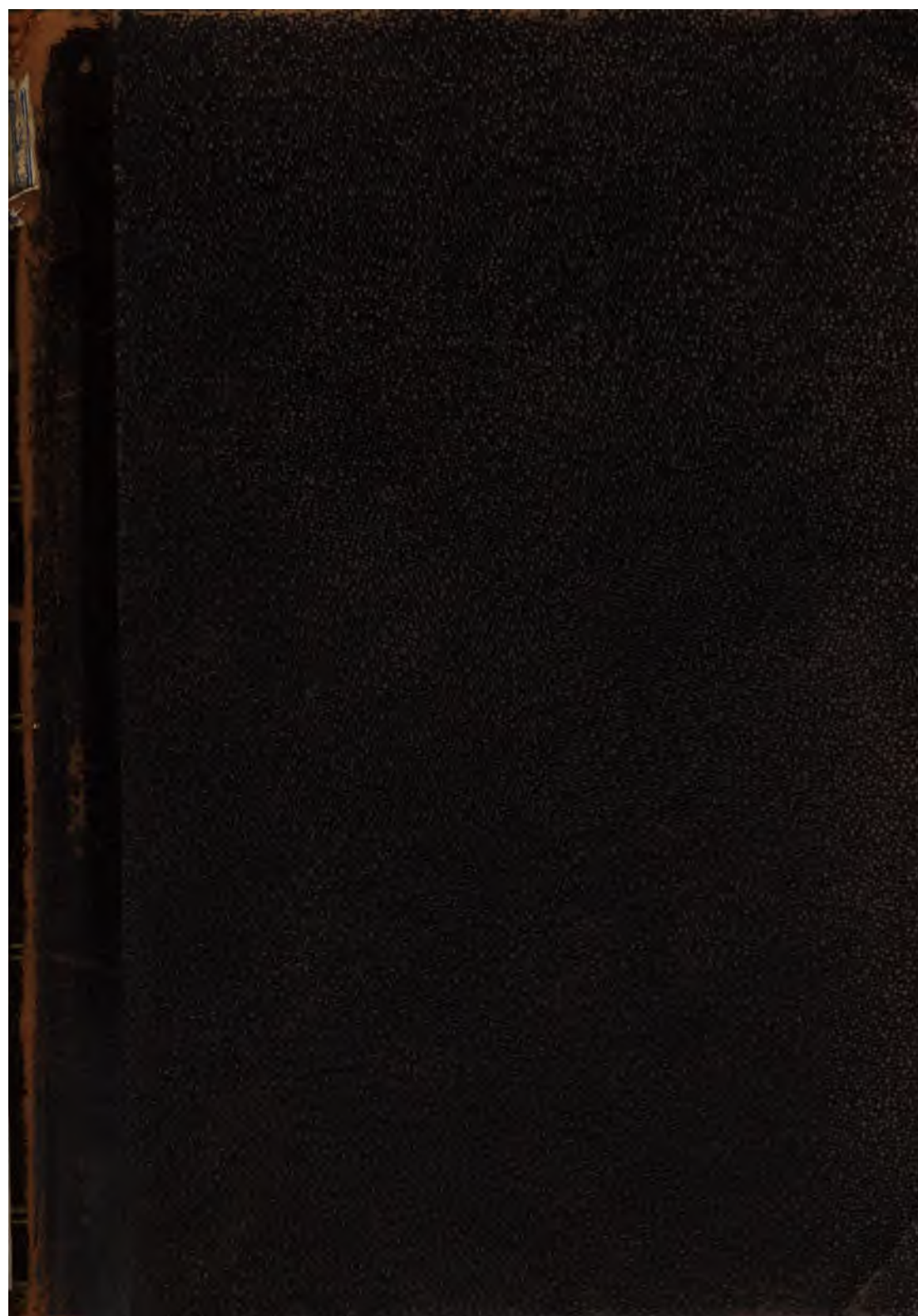
Компания Google гордится тем, что сотрудничает с библиотеками, чтобы перевести книги, перешедшие в свободный доступ, в цифровой формат и сделать их широкодоступными. Книги, перешедшие в свободный доступ, принадлежат обществу, а мы лишь хранители этого достояния. Тем не менее, эти книги достаточно дорого стоят, поэтому, чтобы и в дальнейшем предоставлять этот ресурс, мы предприняли некоторые действия, предотвращающие коммерческое использование книг, в том числе установив технические ограничения на автоматические запросы.

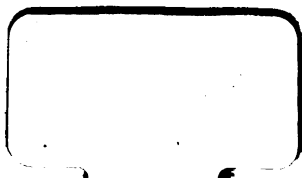
Мы также просим Вас о следующем.

- Не используйте файлы в коммерческих целях.
Мы разработали программу Поиск книг Google для всех пользователей, поэтому используйте эти файлы только в личных, некоммерческих целях.
- Не отправляйте автоматические запросы.
Не отправляйте в систему Google автоматические запросы любого вида. Если Вы занимаетесь изучением систем машинного перевода, оптического распознавания символов или других областей, где доступ к большому количеству текста может оказаться полезным, свяжитесь с нами. Для этих целей мы рекомендуем использовать материалы, перешедшие в свободный доступ.
- Не удаляйте атрибуты Google.
В каждом файле есть "водяной знак" Google. Он позволяет пользователям узнать об этом проекте и помогает им найти дополнительные материалы при помощи программы Поиск книг Google. Не удаляйте его.
- Делайте это законно.
Независимо от того, что Вы используете, не забудьте проверить законность своих действий, за которые Вы несете полную ответственность. Не думайте, что если книга перешла в свободный доступ в США, то ее на этом основании могут использовать читатели из других стран. Условия для перехода книги в свободный доступ в разных странах различны, поэтому нет единых правил, позволяющих определить, можно ли в определенном случае использовать определенную книгу. Не думайте, что если книга появилась в Поиске книг Google, то ее можно использовать как угодно и где угодно. Наказание за нарушение авторских прав может быть очень серьезным.

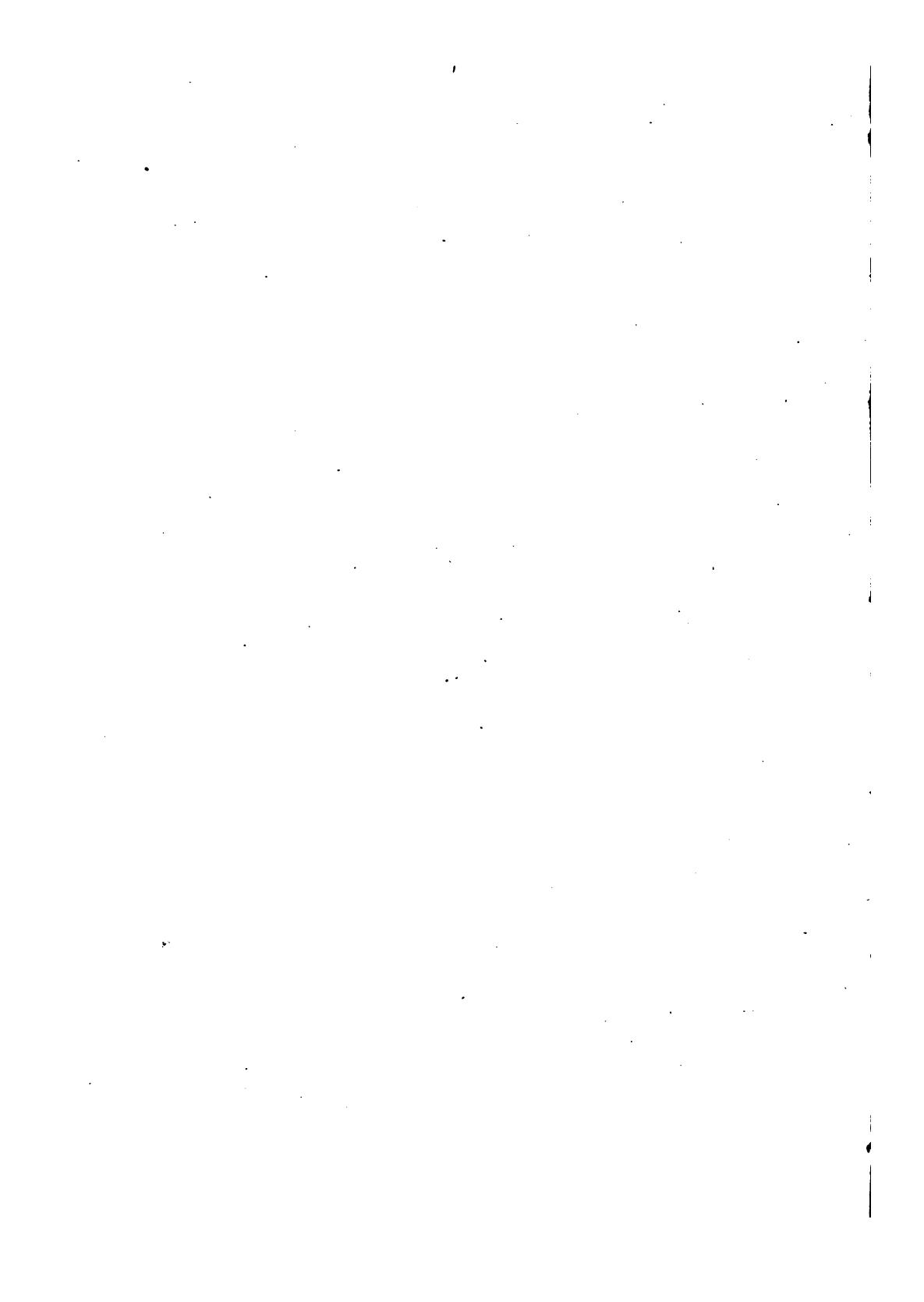
О программе Поиск книг Google

Миссия Google состоит в том, чтобы организовать мировую информацию и сделать ее всесторонне доступной и полезной. Программа Поиск книг Google помогает пользователям найти книги со всего мира, а авторам и издателям - новых читателей. Полнотекстовый поиск по этой книге можно выполнить на странице <http://books.google.com/>









Russ. miss.

Doroshovich, V. M. C

В. М. ДОРОШЕВИЧЪ.

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ.

Томъ III. 183

КРЫМСКІЕ РАЗСКАЗЫ.

Изданіе

Т-ва И. Д. Сытина.



Типогр. Т-ва И. Д. Сытина,



Пятницкая ул., свой домъ.

МОСКВА.—1905.

PG 3460

D47

1905

273

Путевые наброски.

Путевые наброски.

Отъ Севастополя до Байдарскихъ воротъ.

Вы переѣхали ослѣпительно сверкающій на солнцѣ тихо плещущійся Сивашъ, миновали безбрежныя зеленѣющія степи Сѣвернаго Крыма,—и поѣздъ, наполняя все вокругъ себя звономъ и грохотомъ, мчится сквозь туннели, тихо проползаетъ по мостику, повѣшенному надъ какой-то бездонной пропастью, змѣйкой вьется по узенькой дорожкѣ между отвѣсной скалою и отвѣснымъ обрывомъ и летитъ въ Севастополь.

Теплый, ласкающій воздухъ южной ночи льется въ открытое окно вагона.

Тысячи звѣздъ радостно подмигиваютъ улыбающейся весенней улыбкой землѣ съ темнаго-темнаго неба.

Вдали ужъ показались разноцвѣтные огоньки севастопольской станціи.

Часъ ночи.

Городъ спитъ.

Лишь на морѣ горятъ разноцвѣтные огоньки заснувшихъ въ рейдѣ фрегатовъ, корветовъ и шхунъ.

Да великолѣпное морское собраніе горитъ еще огнями.

По своей превосходной колоннадѣ этотъ морской клубъ напоминаетъ скорѣе какой-то древне-греческій храмъ.

Тройка лошадей быстро везетъ изящную, бѣлую, плетеную корзиночку—коляску по чистенькимъ, хорошенькимъ улицамъ Севастополя, съ широкими тротуарами и мостовой, больше похожей на паркетъ.

Экипажъ бойко бѣжитъ по маленькимъ пригоркамъ, то ныряетъ между двумя холмами, то снова взбирается наверхъ.

Холмы все растутъ и растутъ.

Становится сыро; туманъ, сначала легкій, прозрачный, какъ дымка, дѣлается все гуще и гуще, и въ концѣ концовъ все,—дорога впереди и позади, ближайшіе деревня, холмы, растущій около дороги кустарникъ,—все утопаетъ въ бѣлой, беспросвѣтной мглѣ.

Въ туманѣ даже трудно разобрать лошадей экипажа.

Куда ни поглядите,—вездѣ бѣло, и вы начинаете казаться себѣ какой-то мухой, потонувшей въ океанѣ молока.

Отъ такого Крыма лучше закутаться въ пледъ и, приказавъ поднять верхъ экипажа, забиться въ самую глубь, стараясь не дышать этимъ сырымъ, холоднымъ воздухомъ.

Но вотъ становится теплѣе. Экипажъ быстро катится внизъ.

Все теплѣе и теплѣе, и когда вы все еще съ нѣкоторымъ недоувѣріемъ высовываете свой напуганный насморкомъ носъ изъ экипажа,—вы снова дышите теплымъ южнымъ воздухомъ, нѣжнымъ, какъ поцѣлуй сестры.

Лошади стали въ ожиданіи водопоя.

Татарская деревня „Сухая Рѣчка“.

Бѣленькіе домики, у которыхъ словно на стражѣ стоятъ, вытянувшись въ струнку, стройныя пирамидальныя тополи, въ живописномъ безпорядкѣ раскинуты въ долинѣ, у самаго подножья Арнаутскаго хребта.

Воздухъ чистъ и прозраченъ.

Сѣдые, холодные туманы стелются и ползутъ выше, взбираясь на вершины горъ, проносясь по нимъ причудливыми узорами, обнимая, охватывая ихъ и словно заботливо кутая въ бѣлыя чалмы головы заснувшихъ великановъ.

Закутайте и вы себѣ голову.

Природа была всегда большой умницей, и, повѣрьте, она не подастъ дурного примѣра.

Сейчасъ начнется переваль черезъ горы, и вы снова медленно ползете въ облака.

Конечно, это очень лестно для самолюбія, — побывать въ облакахъ, но увѣряю васъ, что въ этомъ случаѣ честолюбіе кончится бронхитомъ.

Такъ гибнутъ великіе честолюбцы!

Арнаутская долина, глубоко прорѣзанная между двумя горными стремнинами, восхитительна.

Въ сѣрѣющемъ сумракѣ разсвѣта потонувшія въ туманѣ горы наполняются призраками и причудливыми фантастическими образами.

Топотъ коней по узенькой каменной дорожкѣ будить и возмущаетъ священную вѣковую тишину.

Тонкими, звенящими голосками жалуются другъ другу горныя феи.

Блѣдныя, какъ саваны, онѣ плаваютъ по долинѣ и взбираются на почти отвѣсные обрывы, чтобъ взглянуть, кто посмѣлъ нарушить ихъ покой.

Онѣ тутъ уже, около васъ, вокругъ васъ.

Схватившись за руки, онѣ преграждаютъ дорогу лошадямъ, закрываютъ отъ глазъ узенькую горную тропинку. Кони испуганно храпятъ и вздрагиваютъ.

А хороводъ блѣдныхъ холодныхъ тѣней становится все уже и уже вокругъ васъ.

Изъ горныхъ стремнинъ угрожающе поднимаются уродливые, безобразные горные духи.

Чьи-то цѣпкія руки тянутся къ вамъ и сверху и снизу, словно стараются схватить колесо экипажа.

Какой-то не то стонъ, не то вопль раздался гдѣ-то въ глубинѣ, — съ каждой горы ему отвѣтилъ такой же вопль, — и весь этотъ страшный аккордъ долго еще дрожить и не умираетъ въ долинѣ.

Мѣсяцъ поблѣднѣлъ отъ этихъ воплей и кажется крошечнымъ бѣлымъ облачкомъ, — призракомъ, тѣнью.

Съ вершинъ горъ тихо спускаются геніи смерти.

Увы! Черезъ полчаса, когда взошло солнце и яркимъ пурпуромъ позолотило вершины горъ, я долженъ былъ сознаться, что геніи смерти оказались геніями насморка.

О, это свѣтило, встающее каждое утро для того, чтобъ разрушить иллюзіи ночи.

При его лучахъ уродливые, страшные горные духи, высовывавшіе свои головы изъ пропасти, оказались, дѣйствительно, уродливыми, но только буковыми деревьями.

Самое мирное дерево, изъ котораго Іосифъ Конъ дѣлаетъ вѣнскую гнуто-буковую мебель.

Вѣтви кустарниковъ, дѣйствительно, задѣвали за колеса экипажа, но вовсе безъ желанія сбросить меня въ пропасть.

Съ восходомъ солнца мелкія пичужки по горамъ и въ долинѣ перекликались ужъ не такъ печально, а филинъ забился въ расщелинѣ скалы и пересталъ орать во все горло.

Эхо замерло въ горахъ, а мои бѣдныя, холодныя, блѣдныя феи жалкими остатками ползали тамъ и тутъ, тая на солнцѣ и орошая траву, деревья и кусты каплями росы, сверкавшими, какъ брильянты.

Было хорошо.

А если бъ у меня еще не было насморка, я сказалъ бы, что было и совсѣмъ превосходно.

Вотъ что значить сунуть носъ въ поэзію.

Байдарская долина напоминаетъ собою превосходно расписанную чашку, на дно которой кто-то плюнулъ.

На самомъ днѣ ея расположены Байдары.

Деревушка, населенная турками, русскими, армянами, татарами и греками.

Утренніе лучи солнца золотятъ вершины горъ, со всѣхъ сторонъ защищающихъ Байдары отъ малѣйшаго вѣтра.

Словно природа ужасно боится, какъ бы не надуло какому-нибудь черноносому грекосу.

Въ свѣжей утренней тишинѣ не дрогнетъ, не шелхнется ни одинъ листочекъ.

Тихо. Слышно, какъ журчитъ гдѣ-то чистый, прозрачный горный ручеекъ да пофыркиваютъ на дворѣ отдыхающіе кони.

Ярко зеленѣютъ на солнцѣ крошечныя изумрудныя нивы огороженные плетнями, и освѣжительно

сіяетъ, словно снѣгъ, густой бѣлый туманъ, залегшій
вверху, въ Байдарскихъ воротахъ.

Словно снѣжная лавина медленно ползетъ онъ въ
долину и таетъ на срединѣ горы.

А надъ всей этой чудной картиной огромнымъ ку-
поломъ сіяетъ голубое, безоблачное южное небо.

Тутъ природа дважды благословила человѣка.

Она дала ему превосходные виды и массу свобод-
наго времени, чтобы ими любоваться.

Плодородная почва безъ всякихъ усилій съ его
стороны родитъ необандероленный табакъ.

А проѣзжающіе даютъ на чай.

Байдарецъ—аристократъ.

Онъ встаетъ часовъ въ восемь.

Въ девять вы можете застать его еще кейфую-
щимъ въ мѣстномъ клубѣ, носящемъ громкое назва-
ніе „Восточная кофейная Учанъ-су“.

На отдѣльномъ возвышеніи, устланномъ краснымъ
сукномъ и окруженномъ перильцами, дремлютъ, под-
жавъ подъ себя ноги, старики и особо почетныя пер-
соны деревни.

Тутъ же, оборотясь къ окну, на колѣняхъ, сидя
на подвернутыхъ подъ себя ногахъ и перебирая четки,
доканчиваетъ утреннюю молитву какой-то право-
вѣрный.

Въ уголокъ другой правовѣрный совершаетъ омо-
веніе, черпая воду прямо руками изъ той же кадучки,
изъ которой черпаютъ ее для приготовленія кофе.

Впрочемъ, этимъ кофе лакомятся только черноно-
сые грекосы.

Мрачные турки и унылые татары молча сидятъ за
столиками.

У нихъ Рамазанъ—и имъ разрѣшается ѣсть и пить только въ 6 часовъ вечера.

Зато греки и кофеемъ упиваются и трещать между собою такъ, что, навѣрное, въ полчаса могутъ рассказать цѣлую Одиссею.

Если бы я когда-то такъ же бойко и быстро могъ спрягать греческіе неправильные глаголы и склонять существительныя третьяго склоненія?

Быть-можетъ, я былъ бы теперь помощникомъ присяжнаго повѣреннаго, а не вольнымъ фельетонистомъ.

И меня гнали бы теперь за неплатежъ съ квартирны вмѣсто всякой поѣздки по Крыму!

Въ кофейнѣ рассказываются всѣ новости.

Какой-то грекъ при мнѣ рассказывалъ какому-то русскому о „хоросей сляпѣ“, которую ему удалось свистнуть у проѣзжаго на постояломъ дворѣ.

— Стащить у проѣзжаго шляпу!

Навѣрное, это потомокъ того самаго аѳинянина, который предлагалъ изгнать Аристида за то, что онъ „слишкомъ честенъ“.

Однако, пора изъ этой вонючей кофейки на не менѣе вонючій постоянный дворъ, который громко называется „гостиницей для проѣзжающихъ“.

— Сколько съ меня слѣдуетъ?

— 1 рубль 25 коп.

— Какъ? За стаканъ кофе???

— За кофей-съ четвертакъ да за номерокъ, въ которомъ вы изволили его пить, рубль.

— Да вѣдь я въ этомъ номерѣ не останавливался.

— Все единственно. Ежели переночевать,—полтора рубля. А ежели только чайку или кофейку въ немъ попили,—рупь.

Заплатилъ рубль за то, чтобъ истратить четвертакъ.

Отдохнувшая тройка бойко бѣжитъ въ гору. Утро дѣлается все лучше и лучше.

По склонамъ горъ цвѣтеть бѣлодеревникъ, распускается акація и чуть-чуть начинаетъ ужъ зеленѣть букъ.

Когда вы обернетесь, чтобъ въ послѣдній разъ взглянуть на Байдарскую долину, она вамъ представится прекрасной, зеленѣющей, изумрудной, чарующей и свѣжей и ликующей при ласковыхъ лучахъ солнца.

Какой рѣзкій переходъ по ту сторону горъ.

Совершенно напрасно вашъ ямщикъ разогналъ лошадей и съ трескомъ влетѣлъ въ Байдарскія ворота.

Ничего, кромѣ бѣлой пелены тумана, который стелется у самыхъ вашихъ ногъ, покрывая собою все,—и море, и чудные обрывы, и прекрасные берега, искрясь и горя на солнцѣ, словно безконечное море.

Скоро придется построить, навѣрное, еще одни Байдарскія ворота: старыя ужъ всѣ исписаны.

Каждый Петръ Ивановичъ Бобчинскій счелъ долгомъ написать тутъ свое имя.



Я Л Т А.

Я л т а.

Прелестный городокъ.

Когда вы подъѣзжаете къ нему съ Ливадійской дороги, и передъ вами за поворотомъ открывается эта чудная панорама, — защищенная горами зеленая котловина и маленькій бѣленькій городокъ, — Ялта вамъ кажется похожей на маленькую, хорошенькую кошечку, которая, свернувшись въ клубокъ, пріютилась на самомъ кончикѣ плюшеваго дивана.

Я остановился въ гостиницѣ „Россія“.

Окна моего номера выходятъ прямо на море.

Оно убаюкиваетъ меня однообразнымъ шумомъ прибоя, и когда я, свѣжій и бодрый, отлично выспавшись, выхожу на свою маленькую террасу, — передо мной золотой кольчугой сверкаетъ море, съ него вѣетъ легкій, освѣжающій вѣтерокъ, и около самыхъ перилъ террасы шепчутся листья каштановъ.

Хорошенькая одесситка, моя сосѣдка справа, пьетъ на террасѣ свой утренній кофе и бесѣдуетъ со своей сестрой, которая живетъ здѣсь же, но въ другомъ номерѣ, и по утрамъ приходитъ къ сестрѣ дѣлиться впечатлѣніями прошлаго дня.

Онѣ, вѣроятно, говорятъ что-нибудь очень веселое, потому что взрывы звонкаго, веселаго, молодого женскаго смѣха раздаются каждую минуту.

Такой же смѣхъ слышится ежеминутно снизу, изъ перваго этажа.

Это весело заливается на своей терраскѣ маленькая француженка, подруга богача, извѣстнаго дѣятеля, владѣльца обширныхъ имѣній, фабрикъ, заводовъ, стараго bon-vivan'a, пріѣхавшаго отдохнуть на сезонъ въ Ялту и захватившаго съ собой отъ скуки маленькую хохотунью.

Это здѣсь принято.

И вы часто встрѣтите рядомъ съ солиднымъ, почтеннымъ, пожилымъ и полнымъ господиномъ какое-нибудь маленькое существо, все въ цвѣтахъ, кружевахъ и лентахъ, вѣчно смѣющееся, съ глазами, словно поющими какую-то задорную шансонетку.

Жизнь маленькой француженки проходитъ въ томъ, что она мѣняетъ въ день по шести туалетовъ, одинъ другого наряднѣе и эффектнѣе

Теперь она сидитъ на своей терраскѣ въ какомъ-нибудь необыкновенномъ утреннемъ капотѣ и звонко хохочетъ, вѣроятно, безо всякой причины, просто потому, что ей весело.

Потому что здѣсь весело всѣмъ.

Моя сосѣдка слѣва никогда не показывается на террасѣ.

Вѣроятно, она не совсѣмъ здорова.

На всѣхъ терраскахъ теперь болтовня, шумъ, смѣхъ.

Всѣ любятъ моремъ, чуднымъ утромъ, вспоминаютъ о вчерашнихъ поѣздкахъ, строятъ планы на сегодня.

Садовникъ, которому я плачу за это какіе-то гроши, приноситъ въ мою комнату два огромныхъ букета только что сорванныхъ розъ, которыя въ это время здѣсь еще въ полномъ цвѣту.

Бѣлыхъ, розовыхъ, ярко пурпурныхъ розъ, на которыхъ еще дрожатъ капельки утренней росы.

Я дѣлаю свой туалетъ и спускаюсь внизъ—„ѣхать“.

Это „часъ генераловъ“.

Сѣдыхъ, отставныхъ генераловъ.

Въ этотъ часъ они сидятъ на нижней, большой террасѣ, около мраморной лѣстницы, и ведутъ разговоры о послѣднихъ событіяхъ, ежеминутно титулуя другъ друга „вашимъ превосходительствомъ“.

Проходя мимо, вы только и слышите: „ваше превосходительство“, „ваше превосходительство“.

— Вы не совсѣмъ правы, ваше превосходительство.

— Но почему же, ваше превосходительство?

Они слушаютъ это, какъ музыку.

Швейцаръ даетъ свистокъ, — и по мелкимъ камешкамъ дороги шуршатъ колеса экипажей.

Я сажусь въ хорошенькую ялтинскую плетеную коляску - „корзинку“, накрытую бѣлымъ зонтикомъ, и ѣду „по дѣламъ“.

Всѣ наши дѣла состоятъ въ томъ, что мы ѣздимъ по утрамъ въ отдѣленіе государственнаго банка получить по чеку для расходовъ на сегодняшній день.

Право, когда въ Ялту проведутъ желѣзную дорогу и удешевятъ здѣшнюю жизнь, этотъ хорошенькій городокъ потеряетъ всю свою прелесть.

Наѣдетъ сѣренькое мѣщанство, боящееся переплатить гдѣ-нибудь лишнюю копейку, дрожащее, только и думающее, что о завтрашнемъ днѣ.

Вся прелесть Ялты въ томъ и состоитъ, что вы хоть на время совсѣмъ отрываетесь отъ труда, отъ заботъ, отъ всякихъ расчетовъ.

Вы попадаете въ веселую, обеспеченную, довольную жизнью среду, не думающую о завтрашнемъ днѣ.

И увѣряю васъ, это не менѣе успокоиваетъ нервы, чѣмъ шумъ моря, благодатный воздухъ, цвѣты и виноградъ.

Отдѣленіе государственнаго банка, устраиваемое здѣсь только на время сезона гдѣ-нибудь на дачѣ, прямо способно заставить васъ расхотаться.

По дорожкѣ, въ тѣни платановъ и лавровъ, среди цвѣтника, вы подходите къ виллѣ въ помпейскомъ стилѣ.

Въ огромной нишѣ статуя Юпитера.

Стѣны увиты виноградомъ и люциной; на главномъ фасадѣ „государственнаго банка“ латинская надпись крупными буквами гласитъ стихъ изъ Виргилія:

„Да зравствуетъ тотъ, кто любитъ. Горе тому, кто не знаетъ любви. Да погибнетъ всякій, кто запрещаетъ любить!“

Подходящая надпись.

Какъ стражи банка, вмѣсто часовыхъ, въ нишахъ стоятъ большія статуи... Венеры и Діаны.

Когда я возвращаюсь изъ этого легкомысленнаго дома, гдѣ помѣщается государственное учрежденіе, — набережная ужъ полна гуляющими.

Разодѣтыя въ легкія, изящныя лѣтнія платья, дамы порхаютъ по магазинамъ.

Снуютъ татары-проводники.

Маленькая кофейня, выстроенная на сваях надъ самымъ моремъ, полна.

Дамы въ лорнеты (въ Ялтѣ обязательны) разглядываютъ катающихся.

Въ ресторанѣ „Россія“ начинается часъ обѣда.

Здѣсь почти не завтракаютъ, соединяя завтракъ и обѣдъ въ одно.

Терраса ресторана, ресторанъ полны.

Маленькая французенка хохочетъ за столомъ въ какомъ-то необыкновенно эффектномъ туалетѣ, который она экспонируетъ сегодня въ первый разъ.

Ея солидный, пожилой кавалеръ любитъ ея маленькими дурачествами и тихонько останавливаетъ ее съ добродушной улыбкой:

— Laissez, ma petite! Laissez, cher enfant, laissez!

Его сынъ, высокій, очень худощавый молодой человѣкъ обѣдаетъ вмѣстѣ съ моей хорошенькой сосѣдкой одесситкой и ея сестрой.

Съ ними же сидитъ офицеръ, легко раненный въ руку на дуэли и потому интересующій всѣхъ нашихъ „сезонныхъ“ дамъ.

Тутъ же въ уголкѣ, сторонясь отъ всего этого болтающаго и смѣющагося міра, сидитъ пожилая дама маменька бѣлокураго молодого человѣка, который исподлобья кидаетъ взглядъ то на французенку, то, на хорошенькую одесситку.

Ему лѣтъ двадцать пять, онъ катается на велосипедѣ, занимается любительской фотографіей, и ему разрѣшается пить легкое крымское красное вино только изъ маленькой рюмочки.

Маменька страшно дрожитъ за добродѣтель своего сына и испуганно смотритъ кругомъ, какъ будто ждетъ,

что вотъ-вотъ сейчасъ, здѣсь же совершится грѣхъ паденіе ея сына.

Она, вѣроятно, раскаивается даже и въ томъ, что пріѣхала въ Ялту гдѣ столько соблазновъ для ея „мальчика“.

Если ей удастся удержать этого цыпленка въ ватѣ, изъ него, навѣрное, со временемъ выйдетъ мужъ, отъ котораго жена сбѣжитъ черезъ двѣ недѣли.

Послѣ обѣда маленькій отдыхъ, и всѣ разѣзжаются по окрестностямъ.

У подъѣзда толпятся проводники съ лошадьми.

Хорошенькія корзиночки увозятъ одну компанію за другой.

Маленькая француженка—въ новомъ туалетѣ!—садится въ маленький шарабанчикъ, запряженный парой маленькихъ лошадокъ съ подстриженными гривами и массой бубенчиковъ на сбруѣ.

Она правитъ сама, хохочетъ и весело пощелкиваетъ бичомъ.

Ея солидный кавалеръ смотритъ на нее съ веселой, добродушной улыбкой.

Этотъ старый *bon-vivant* съ его француженкой напоминаетъ мнѣ хорошаго гурмана, который съ чувствомъ, съ толкомъ, съ пониманіемъ дѣла, лакомится пуляркой, отлично начиненной трюфелями.

И его маленькая пулярка очень довольна тѣмъ, что ее ѣстъ человѣкъ со вкусомъ, съ пониманіемъ, истинный цѣнитель.

Возвращаются, когда уже по горамъ идутъ лиловатыя тѣни, а солнце, заходящее по ту сторону горъ, яркимъ золотомъ зажигаетъ вершины Яйлы.

Въ садикѣ передъ гостиницей гремитъ отличный оркестръ изъ Одессы.

Всѣ на большой террасѣ.

Быстро темнѣетъ.

Одна за другой къ подъѣзду съ мягкимъ шумомъ подкатываютъ хорошенькія корзиночки, изъ нихъ выходятъ возвращающіеся съ катанья и вновь пріѣхавшіе съ пароходомъ.

Около мола сіяетъ массой огней, словно иллюминированный, освѣщенный электричествомъ пароходъ.

По лѣстницѣ гостиницы, подъ перекрестными взглядами дамъ, поднимаются пріѣзжіе, у всѣхъ такія веселыя, оживленныя лица.

Къ девяти часамъ всѣ расходятся.

Изъ городского сада доносится музыка.

Лунный свѣтъ широкимъ, расходящимся столбомъ дрожитъ въ мелкой морской зыби.

На набережной парочки

Иногда по дорогѣ раздается стукъ копытъ.

Проводникъ и дама.

День конченъ.

Я чувствую, какъ здѣсь съ каждымъ днемъ все стихаютъ и стихаютъ мои взвинченные нервы

Въ этомъ маленькомъ городѣ дышащихъ здоровьемъ больныхъ, благодатнаго воздуха, веселья и полнѣйшей беззаботности.

Главное—беззаботности.

Вчера ночью я не могъ заснуть.

Нервы ли опять расходились, ночь ли была слишкомъ душная.

Увядавшія розы наполняли комнату одуряющимъ ароматомъ.

Прибой ревѣлъ.

Гдѣ-то вдали, должно-быть, разыгралась буря и оттуда пришли къ намъ высокія волны.

Была сильная зыбь.

Волны съ какимъ-то стономъ шарахались о набережную, словно просились, чтобъ взяли на землю.

Было душно, тяжело, нервы взвинтились, слухъ изощрился чортъ знаетъ до чего.

Я слышалъ каждый шорохъ въ сосѣдней комнатѣ.

Вотъ по коридору раздались тихіе, крадущіеся шаги.

Въ дверь хорошенькой одесситки чучь-чуть слышно.

— Можно?

Несмотря на шопоть, я узналъ голосъ высокаго, худощаваго молодого человѣка.

— Войдите!..

Поцѣлуй... Подавленный смѣхъ... Шелестъ... Тишина...

Опять поцѣлуй... Шопоть... Снова смѣхъ...

— Цѣлуй...

Это становилось забавнымъ.

Я приподнялся на кровати и началъ прислушиваться.

Вдругъ изъ-за стѣны слѣва послышался кашель.

Но какой кашель!

Казалось, я слышалъ, какъ отрывались куски легкаго.

Удушливые, затяжные припадки кашля, прерываемые оханьемъ, стонами измученной чахоточной женщины... какое-то клокотанье...

— Цѣлуй!—шептали справа.

А слѣва снова припадокъ страшнаго кашля, клокотанье въ груди.

Смѣхъ и стоны.
Меня прямо била лихорадка.
Я не могъ лежать и заходилъ по комнатѣ
Среди капля слышались поцѣлуи, среди смѣха—зловѣщее клокотанье.
Это длилось часа два.
Наконецъ, у хорошенькой одесситки все стихло.
У сосѣдки слѣва слышалось хрипѣніе... тише... тише... и тоже все стихло...
Меня охватилъ какой-то безпричинный ужасъ.
Я наскоро одѣлся и пошелъ бродить по Ялтѣ, по окрестностямъ.
Начало свѣтать.
Было такъ тихо. Вдругъ въ этой тишинѣ раздался благовѣстъ.
Тихо, словно боязливо...
Одинъ ударъ, другой, и все смолкло.
Изъ-за поворота улицы чуть не бѣгомъ какіе-то люди вынесли гробъ.
Ни провожатыхъ, никого.
Люди съ гробомъ почти бѣжали, словно боясь, чтобъ ихъ кто-нибудь не увидѣлъ.
Словно спѣшили схоронить жертву преступленія.
Я пошелъ за гробомъ.
Изъ-за поворота другой улицы показались точно такъ же бѣгушіе люди съ гробомъ.
И оба гроба, словно обгоняя другъ друга, понеслись по направленію къ церкви.
Мнѣ сдѣлалось жутко. Я спѣшилъ уйти изъ этого города, гдѣ воровски хоронятъ добычу смерти, чтобъ не смущать веселья живыхъ.
Я пошелъ въ горы.

Когда я возвратился оттуда, я прошелъ мимо дачки съ отворенными настежь окнами и дверями. Оттуда несло дезинфекціей.

Хозяинъ приклеивалъ къ воротамъ записку.

„Здѣсь отдается свободная комната“.

Вѣроятно, ее освободилъ одинъ изъ двухъ встрѣченныхъ мною на разсвѣтѣ по дорогѣ къ церкви.

По набережной въ этотъ утренній часъ, когда нѣтъ еще ни пыли ни жары, гуляли блѣдные люди, съ исхудалыми лицами, бѣлыми, какъ писчая бумага, закутанные въ ватныя пальто, въ шарфы.

Они бродили, какъ тѣни, еле передвигая ноги, съ грустными лицами, истомленными за ночь припадками кашля.

Встрѣчаясь, они обмѣнивались другъ съ другомъ короткими разговорами:

— Сколько сегодня?

— Тридцать восемь и два. Слава Богу, лучше. Вчера было тридцать восемь и пять!

— А у меня все такъ же тридцать восемь и семь. Хоть бы что! Ужъ я и креозотъ!

— Какъ вашъ катаръ?

— Все еще покашливаю.

— А мой бронхитъ, слава Богу, лучше. Докторъ говоритъ, скоро выздоровѣю совсѣмъ.

И эти люди, говорившіе о бронхитѣ, о катарѣ, о выздоровленіи, заливались долгимъ, затяжнымъ припадкомъ чахоточнаго кашля.

— На меня плохо дѣйствуетъ морской воздухъ.

Я ушелъ съ набережной, гдѣ бродили эти грустные тѣни, прячущіяся, какъ кроты, по своимъ норамъ, съ

приближеніемъ часа, когда на набережной снуютъ татары и разодрѣтыя дамы.

Я пошелъ бродить по улицамъ.

Около какого-то домика толпилась кучка людей.

Я прочелъ вывѣску: „Городская аукціонная камера“, и зашелъ.

— Вещи, оставшіяся послѣ художника Красноселова. Пальто на ватѣ старое. Поѣдено молю. Мѣстами порвано. Оцѣнка полтора рубля. Кто больше?

— Фотографическая камера, поломанная, оцѣнка два съ полтиной. Кто больше?

— Два неоконченныхъ эскиза, изображающихъ цвѣты. Оцѣнка за оба 3 рубля. Кто больше?

Все.

Остальное, вѣроятно, сожжено въ цѣляхъ дезинфекціи.

Мнѣ становилось все тяжелѣе бродить по улицамъ этого просыпавшагося веселаго города, и я пошелъ въ гостиницу.

Мнѣ казалось, что за каждымъ кустомъ, среди цвѣтовъ, ползетъ смерть, подползаетъ тихо, незамѣтно, намѣчая себѣ жертву.

По дорогѣ мнѣ встрѣтился докторъ.

— Куда?

— Къ паціенту...

Онъ назвалъ фамилію высокаго, худощаваго молодого человѣка, цѣловавшагося съ хорошенькой одесситкой въ то время, какъ черезъ номеръ отъ нихъ клокотало въ горлѣ у чахоточной женщины.

— А что? Развѣ у него...

— „Она“!

Докторъ сказалъ это слово тихо и даже оглянувшись кругомъ. Слово „чахотка“ тщательно избѣгается въ этомъ городѣ.

И въ его возрастѣ... бываетъ скоротечна!..

Я вернулся въ гостиницу.

— А моя сосѣдка? — спросилъ я у швейцара...

— Которая-съ? Которая изъ Одессы? На террасѣ у себя съ сестрой чай пьютъ. Вонъ онѣ смѣются.

— Нѣтъ, та... другая... сосѣдка слѣва.

— Тѣ уѣхали-съ! Онѣ еще третьяго дня отъ насъ уѣхали!

— Такъ ты говоришь, она уѣхала?

— Уѣхали! — отвѣчалъ швейцаръ, опуская глаза, но твердо и рѣшительно.

Изъ перваго этажа слышался визгливый хохоть француженки.

Въ бельэтажѣ хохотала хорошенькая одесситка, вѣроятно, рассказывая своей сестрѣ что-то очень веселое.

Со всѣхъ террасъ слышался смѣхъ, разговоры...

Если бы они хоть разъ встали рано утромъ, какъ я!

Я уѣхалъ съ первымъ отходящимъ пароходомъ.

Сіяло солнце, сверкала, все удаляясь, бѣленькая, чистенькая Ялта, одѣтая зеленью.

Словно бѣлая могильная плита, покрытая лавровыми вѣнками.



Проводникъ.

П р о в о д н и к ъ.

Приземистый, отлично сложенный, стройный, гибкий, онъ очень красивъ въ своихъ широкихъ шароварахъ, расшитой золотомъ курткѣ и маленькой барашковой шапкѣ, ухарски надѣтой на пышные, взбитые, вьющіеся волосы.

Верхомъ ѣздитъ, шельмецъ, какъ маленькій богъ.

Не шелохнется, не отдѣлится отъ сѣдла ни на іоту, словно приросъ.

Знаетъ, что красивъ, да въ этомъ его не перестаютъ убѣждать и наши барыни, и занять собой чертовски,

Мы встрѣчаемся въ лучшей парикмахерской на набережной, гдѣ подмастерья пытаются говорить по-французски, но все-таки берутъ пахучими пальцами за носъ, когда бреютъ.

Онъ самый беспокойный изъ кліентовъ.

— Усамъ крути, тебѣ говоримъ. Фиксатуарамъ клади. Больше фиксатуарамъ клади, чтобъ стрѣламъ усы булъ!

Потомъ подопрется лѣвой рукой въ бокъ, избоchenится какъ-то чертовски, правой начнетъ играть длин-

ной часовой цѣпочкой, со всѣхъ сторонъ оглядѣть себя въ зеркало, и самъ наивно и нагло придетъ отъ себя въ восторгъ:

— Харушъ!

Наши „сезонныя“ барыни берутъ его нарасхватъ.

У него и лошади отличныя, и самъ онъ, дѣйствительно, „харушъ“ и „съ дамамъ обращаться умѣть“.

Какъ и во всѣхъ крымскихъ татарахъ, въ Али нѣтъ ничего татарскаго.

Орлиный профиль, что-то хищное, смѣлое, дерзкое въ глазахъ.

Это настоящій потомокъ тѣхъ генуэзцевъ, отважныхъ хищниковъ, орлиныя гнѣзда которыхъ, полуразрушенныя, чернѣютъ на неприступныхъ скалахъ по дорогѣ къ Мисхору.

Отсюда, какъ орлы изъ гнѣздъ, выглядывали они морскую добычу, не бѣлѣтъ ли гдѣ, какъ голубь, бѣлый парусъ, и спускались въ долины грабить и похищать чужихъ женъ, мѣшая благородную генуэзскую кровь съ сильной, энергичной татарской.

Даже толстый скептикъ Ибрагимъ, что торгуешь фруктами въ Мордвиновскомъ саду и свысока смотритъ на теперешнихъ проводниковъ, и тотъ признаетъ Али, — молодца!

Ибрагимъ когда-то самъ былъ проводникомъ, и знаменитымъ проводникомъ. Его пальцы всѣ въ драгоцѣнныхъ перстняхъ, и каналья безъ стѣсненія называетъ по фамиліямъ, отъ кого какой подарокъ.

Тутъ вы услышите много „именитыхъ“ московскихъ купеческихъ именъ.

Теперь Ибрагимъ постарѣлъ, обрюзгъ, потучнѣлъ, отпустилъ животъ, хотя по чертамъ лица и теперь

можно судить, что онъ былъ когда-то красивъ очень и стоилъ этихъ брильянтовъ.

Онъ держитъ „на барынинъ деньга“ первую фруктовую торговлю въ Ялтѣ и смотритъ на теперешнихъ проводниковъ съ высоты своей фруктовой лавочки.

Даже Ибрагимъ признаетъ въ Али „молодца“, хотя и съ оговорками

— Не тотъ, что мы въ свое время булъ. Орла булъ! Хорошій купчихъ дорогимъ подаркомъ дарилъ! Теперь не то.

„Хорошій купчихъ“, по словамъ Ибрагима, больше въ „заграницамъ“ все поѣхалъ и „хорошимъ подаркомъ“ даритъ международныхъ авантюристовъ, въ пиджакахъ англійскаго покроя, ищущихъ себѣ счастья въ Спа, Трувиллѣ, Монте-Карло и знакомящихъ нашихъ замоскворѣцкихъ купчихъ съ „последнимъ парижскимъ словомъ науки любви“.

Но и на долю крымскихъ проводниковъ еще кое-что перепадаетъ.

Али охотно лорнируютъ, — лорнетъ въ Ялтѣ „въ сезонѣ“ обязателенъ даже для ярославскихъ купчихъ, — наши сезонныя дамы.

А моя бѣдная Перепетуя Филиппьевна...

Перепетуя Филиппьевна пріѣзжаетъ сюда изъ Кіева — каждую осень „для винограда“ или, вѣрнѣе, „для Али“. Она, впрочемъ, и сама это не скрываетъ, а со мною, какъ съ литераторомъ, даже откровеннѣе, чѣмъ съ кѣмъ бы то ни было. Я убѣдилъ ее, что мнѣ все это „необходимо знать“.

— Помилуйте, какъ же я буду описывать эти ощущенія? Самъ я барыней не былъ и татарами не увлекался. Откуда же черпать матеріалъ писателю?

И она охотно дѣлится со мной своей радостью и горемъ „на пользу русской литературы“, а въ сущности потому, что ей нужно излить передъ кѣмъ-нибудь переполняющія ее чувства. А жестокій Али не особенно-то охотно слушаетъ эти изліянія, да и „не особенно много понимаетъ въ этихъ психологическихъ тонкостяхъ“.

Перепетуя Филиппьевна дама бальзаковского возраста, и я не позавидовалъ бы тому юному юнцу, который попался бы въ руки этой полной барыни, съ энергичнымъ, немножко мужскимъ, немножко восточнымъ профилемъ, маленькими усиками и беспокойными огоньками въ глазахъ.

— Я тороплюсь жить! — говоритъ она. — Мнѣ осталось ужъ немного, и я хочу взять отъ жизни все сполна!

Красавецъ Али не совсѣмъ содѣйствуетъ этому.

Перепетуя Филиппьевна — моя сосѣдка по гостиницѣ „Россія“. Окна ея комнаты выходятъ на дворъ, и я часто, возвращаясь поздно домой, останавливаюсь у ея отвореннаго окна поболтать съ Перепетуей Филиппьевной, сидящей дезабилье.

Ее душитъ знойная августовская ночь, ей мѣшаетъ спать ароматъ розъ и неумолчный звонъ цикадъ, разсыпанныхъ въ кустахъ, ее преслѣдуетъ образъ Али.

— Да что вамъ за охота, уважаемая Перепетуя Филиппьевна, увлекаться какимъ-то грубымъ татаринкомъ? Нашли бы себѣ какого-нибудь юнца!

— Ахъ, вы ничего не понимаете въ этихъ вещахъ. И къ тому же Али вовсе не грубъ. Онъ весь въ багистѣ.

Она блаженно закатываетъ глаза.

Я сижу поздно вечеромъ на террасѣ ресторана и вижу, какъ Перепетуя Филиппьевна уныло взбирается на мраморную лѣстницу гостиницы. При свѣтѣ фонаря у нея необыкновенно растрепанный видъ.

— Перепетуя Филиппьевна! — кричу я. — Идите сюда! Я одинъ, скучаю и готовъ васъ слушать безъ конца.

— Сейчасъ. Только пойду къ себѣ поправиться.

— Ничего. Идите такъ. Никого нѣтъ.

У Перепетуи Филиппьевны, дѣйствительно, необыкновенно растрепанный видъ. Словно корабль, выдержавшій сильный штормъ.

— Перепетуя Филиппьевна! Многоуважаемая! Что съ вами? Выпейте холодного вина,—это васъ успокоитъ.

— Али меня побилъ!

— Что-о?!

— Побилъ. Я начала его ревновать, говорить ему, а онъ взялъ меня и побилъ. Какъ больно дерется эта красивая бестія!

— Перепетуя Филиппьевна! Дорогая! До чего же вы себя довели!!!

— До паденія! Я падаю каждый годъ. Я гадка, мерзка самой себѣ, каждый годъ, уѣзжая отсюда, я даю себѣ клятву не возвращаться сюда, къ этимъ хамамъ. А когда подходитъ осень... Моя весна наступаетъ осенью! — прибавляетъ она съ грустной улыбкой.

— И вы завтра опять пойдете къ Али?

— Пойду. Не могу. Да вамъ этого никогда не понять. Если бы видѣли, какъ онъ былъ красивъ въ эту минуту!

— Это, то-есть, когда онъ васъ билъ?

— Даже когда меня билъ! Я стояла на колѣняхъ, рыдала, цѣловала его руки. Было и больно, и жутко, и страшно, и сладко. А онъ билъ, билъ, онъ былъ какъ звѣрь! Я думала, что онъ меня убьетъ.

— Удовольствіе!

— Вы мужчина, и вамъ этого никогда не понять! Но Али сталъ неузнаваемъ. Вы знаете, онъ не только меня,—онъ свою жену побилъ!

У Али въ двухъ верстахъ отъ Ялты, въ деревнѣ, есть жена, красивая татарка, съ массой мелкихъ косичекъ на головѣ и тупымъ выраженіемъ лица. Она иногда появляется въ Ялтѣ, ходитъ по магазинамъ, покупаетъ массу обновъ и уходитъ съ ними, не обращая никакого вниманія на шалости мужа.

Я спрашивалъ Али:

— Отчего у тебя одна жена? По вашему закону вѣдь можно имѣть нѣсколько.

— Одинъ будетъ!—съ улыбкой отвѣчалъ онъ.

— Что же, ты любишь ее?

— Мы держимъ ее хорошо!

Али, дѣйствительно, „держитъ жену хорошо“, покупаетъ ей на „барынины деньги“ обновы, не обижаетъ, не бьетъ.

И вдругъ отколотилъ свою жену!

— Я знаю, чьи это шутики,—злобно шипитъ Перепетуя Филиппьевна:—это все ваша одесская флиртистка, Анна Николаевна все! Она кружитъ голову моему Али! Привыкла флиртовать! Ну, да вѣдь съ татарами не пофлиртуешь!

Али, кажется, дѣйствительно, не на шутку увлеченъ моей красивой землячкой.

Наканунѣ я его встрѣтилъ на набережной. Онъ сидѣлъ на скамеечкѣ напротивъ и глазъ не сводилъ съ подвѣзда гостиницы „Россія“.

— Что, братъ, все Анну Николаевну смотришь?

— Сидю и глядю, потому что я ревнющій! — недовольно отвѣтилъ онъ.

— А что, Али, сознайся по совѣсти, очень она тебѣ нравится?

— Нашимъ дѣломъ, не вашимъ дѣломъ, нравится или нѣтъ.

Али ничего не сказалъ, только глазами сверкнулъ такъ, что мнѣ подумалось: „Охъ, спрятанъ гдѣ-нибудь у этого азіата ножъ“.

Анна Николаевна флиртистка по специальности. Она своимъ вѣчнымъ флиртомъ сдѣлала несчастнымъ мужа и ~~свела~~ съ ума не одного поклонника. Около нея вы постоянно встрѣтите массу вздыхателей военныхъ, штатскихъ, артистовъ, литераторовъ. Она не брезгуетъ никѣмъ.

Всѣ „питають надежду“, но никто не можетъ похвалиться близостью къ ней.

Ей просто нравится флиртъ, какъ „искусство для искусства“, нравится постоянно, какъ на туго натянутой проволоцѣ балансировать на той черточкѣ, которая отдѣляетъ „невинное развлеченіе“ отъ паденія.

И она балансируетъ смѣло, но искусно.

Я говорилъ ей не разъ:

— Ну, что вамъ за охота, Анна Николаевна, крутить голову этому Али? Только его отъ его „настоящаго дѣла“ отрываете. Вертели бы головы вашимъ поклонникамъ. Мало?

— Ахъ, вы не понимаете! Это совсѣмъ не то. Тѣ надоѣли! Ну, что въ нихъ? Вялые, развинченные, дряблые какіе-то. Вотъ вы, напримѣръ, тридцать лѣтъ, а ужъ ногу волочите. Про васъ даже какая-то посторонняя пожилая дама сказала: „Si jeune et si bien desoré“. Вы спросите хоть у Перепетуи Филиппьевны: какіе-то безопасные кавалеры! А тутъ красота, смѣлость, сила, наглость! Каждую минуту дрожишь! Ахъ, если бы вы знали, какой онъ наглецъ! То-есть былъ! Теперь онъ при мнѣ дышать не смѣетъ. Но былъ ужасный. Поѣхали мы съ нимъ въ первый разъ кататься. Ну, говоримъ. Онъ все ближе, ближе. Я ничего. Вдругъ какъ обниметъ за талію. Понимаете? Я его по рукъ хлыстомъ. Лошади хлысть,—и поскакали.

— Ну, а онъ? Я думаю, былъ удивленъ? Они вѣдь здѣсь къ этому не привыкли.

— Ничего. Только глазами заворочалъ. Видимо, убилъ бы меня въ эту минуту. Гордый народъ!

— Ну, а ѣздить съ вами продолжалъ?

— На слѣдующій день черезъ швейцара лошадей заказала. Онъ не зналъ для кого и подалъ. Дѣлать нечего, пришлось ѣхать. Всю дорогу ни слова. Ёдетъ въ отдаленіи. Я ужъ нѣсколько разъ вскрикивала, будто падаю. Ничего.

— Такъ и ни слова?

— Ни слова, пока не пріѣхали на Учанъ-Су. „Я,—говорю,—боюсь одна къ водопаду итти. Али, проводите меня“. Пошелъ. Молчитъ. По дорогѣ велѣла ему чуть не по отвѣсной скалѣ спуститься, цвѣтокъ мнѣ достать. „Какой же ты,—говорю,—„молодца“, ты просто трусь. Наши кавалеры и тѣ бы для дамы цвѣтокъ достали“. Досталъ. Я бросила.

— Ай-ай-ай! Анна Николаевна! Ну, развѣ можно съ этимъ дикаремъ такъ шутить? Развѣ они этотъ вашъ „флиртъ“ понимаютъ?!

— Все понимаетъ, не беспокойтесь! Онъ у меня все чувствуетъ! Лицо пятнами пошло, глаза такъ и бѣгаютъ. Ну, совсѣмъ какъ звѣрь прирученный, когда его укротительница бьетъ! Того и гляди — бросится.

— Скалы, водопадъ. Вы вдвоемъ. Жутко, но интересно.

— Вотъ, вотъ! Только вы этого въ такой степени не поймете, какъ мы: вы не женщина!

— Совершенно справедливо. Ну, а дальше-то что?

— Дальше, дошли до водопада, и я его къ себѣ приблизила...

— Анна Николаевна!

— Такъ только. Около своихъ ногъ посадила, шапочку, золотомъ расшитую, сняла, по волосамъ глажу.

— Ну, а онъ?

— Сидитъ, только дышитъ тяжело. „Не трогай, говорилъ, барина, моихъ волосъ. Не могу держать себя, когда мой волосъ трогаешь“!

— А вы?

— Я... поцѣловала его въ голову, отскочила въ сторону и говорю: „ѣхать пора. Я обѣдать тороплюсь“. Блѣдень, какъ смерть. Дышитъ тяжело, голосъ даже какой-то хриплый сталъ. „Съ ахвицеромъ знакомымъ обѣдать будешь“?

— Съ офицеромъ, говорю, и со штатскими. Много будетъ народу. Ъдемъ, — а то опоздаю. Глаза кровью налились, горятъ. Вотъ это ревность!

— Ну, а дальше что у васъ?

— Ъздили каждый день то въ Массандру, то на Учань-Су, то въ Мисхоръ. Въ Алупку какъ-то ѡздили. Въ Оріандѣ въ развалинахъ дворца вечеромъ сидѣли. Словомъ, крымскій флиртъ, какъ по нотамъ... То приближу, то отдаю.

— А большаго онъ не требуетъ?

— А хлысть?! Онъ у меня смиренный. Чего же ему еще? Я его цѣловала.

— Какъ?

— Очень просто. Взяла и поцѣловала. Развѣ это грѣхъ? Его же золотой цѣпочкой ему руки назадъ связала, подошла и поцѣловала... долго, долго, у него даже въ глазахъ помутилось. Съ тѣхъ поръ каждый разъ, какъ поѣдемъ кататься, ласково такъ говорить: „барина, возьми цѣпочка вязать руки!“... Ну, да этого часто позволять нельзя...

— По правиламъ флирта?

— Да, по правиламъ флирта.

— Хорошенькое занятіе!

— Ничего себѣ. Я у него спрашивала: хороша я, Али?

— Очень,—говорить,—хорошъ. Такъ хорошъ, что и сказать нельзя.

— Лучше, говорю, Перепетуи Филиппьевны?!— Вотъ злится, какъ сказать!

— Вы знаете, онъ ее побилъ недавно!

— Какъ же, рассказывалъ. Я очень смѣялась. Ну, да вѣдь то Перепетуя Филиппьевна. Они, эти красавцы, совсѣмъ какъ мы, женщины. Помните: „чѣмъ меньше женщину мы любимъ, тѣмъ больше нравимся мы ей“. Впрочемъ, и я съ нимъ иначе какъ съ револьверомъ не ѡзжу.

— А онъ знаетъ?

— Нѣсколько разъ прицѣливаться приходилось.

— А онъ?

— Убей,—говорить,—отъ тебя и смерть мнѣ миль!
Какова каналья! Словами романа заговорилъ! Но красивъ въ эти минуты онъ изумительно!

И Анна Николаевна со смѣхомъ запѣла изъ „Маскоттъ“:

„Какъ онъ хорошъ, нашъ сынъ полей!

Въ немъ красота царить безъ мѣры!

И эти дикія манеры,

И чудный блескъ его очей!“...

— Вы знаете, онъ, бѣдняга, даже похудѣлъ и поблѣднѣлъ за эти дни?

— Ничего. Это къ нему идетъ

— А въ парикмахерской у насъ цѣлыя революціи происходятъ. Фиксатуару столько на усы истребляетъ, что даже парикмахеръ жалуется. Все чтобъ быть „харушимъ“.

— Вотъ дуракъ! Однако, я заболталась съ вами! Онъ меня ужъ часа два съ лошадьми у подъезда ждетъ. Пожалуй, еще къ вамъ приревнуетъ. Зарѣжетъ, а мнѣ васъ будетъ жаль, потому что вы умный и за мной не ухаживаете.

— Мерсі за комплиментъ. Дофлиртуетесь вы съ этимъ азіатомъ, Анна Николаевна!

— Ничего. Богъ не выдастъ, — ухаживатель не съѣстъ.

— Не кончится это добромъ,—глядите!

— Нечего и глядѣть, я скоро уѣзжаю, а онъ... Переперуя Филиппьевна подарить ему новый поясъ съ бирюзой,—онъ и утѣшится. Вотъ и весь конецъ!

Анна Николаевна уѣхала внезапно, даже ни съ кѣмъ не простившись. У нея всегда и все дѣлалось „вдругъ“.

Я узналъ объ ея отъѣздѣ изъ разговора Али со швейцаромъ гостиницы.

— Совсѣмъ уѣхала барина?—мрачно спрашивалъ Али.

— Совсѣмъ, совсѣмъ!—улыбался швейцаръ.—Тебѣ очень кланяться велѣла.

— Въ Севастополь, говоришь, уѣхалъ?

— Въ Севастополь.

— На „паруходѣ“ уѣхалъ?

— На „паруходѣ“, на „паруходѣ“. Проваливай! Тебѣ изъ 32-го велѣли лошадей подавать: двухъ въ дамскомъ сѣдлѣ, одну въ мужскомъ. Она, небось, теперъ ужъ къ Севастополю подѣзжаетъ.

Али процѣдилъ сквозь зубы:

— Та-акъ!

Повернулся и пошелъ.

Черезъ два часа я его встрѣтилъ одного на Ливадійской дорогѣ.

Онъ, замѣтивъ меня, ухарски приподнялъ свою золотомъ расшитую шапочку и крикнулъ:

— Прощай, барынь.

Вытянулъ нагайкой своего гордаго крымчака и крупной иноходью полетѣлъ въ гору.

А черезъ три дня почта привезла намъ изъ Севастополя мѣстную газету, гдѣ среди злободневныхъ происшествій значилось:

„Убіенство на романической подкладкѣ“.

„Вчера на приморскомъ бульварѣ крестьянинъ Ялтинскаго уѣзда, по профессіи проводникъ, татаринъ

Мегеметъ-Али, ударомъ ножа убилъ наповаль дворянку Анну Николаевну Х., одесситку, прїѣхавшую только за день до этого на наши морскія купанія изъ Ялты. Проходившіе мимо слышали, какъ убійца за минуту до преступленія грозилъ покойной: „я тебѣ убитокъ сдѣлаю“, а она, очевидно, не понявъ его угрозы, отвѣчала ему со смѣхомъ: „какіе хочешь, такіе убытки и дѣлай“...

Да и кто жъ догадается, что у этихъ азіатовъ убить человѣка называется „сдѣлать убитокъ“!



Послѣдніе лучи.

Послѣдніе лучи.

Ярко-красныя вѣтви люцены, обвивавшія террасу, рдѣли на солнцѣ. Кипарисы бросали короткія тѣни на мелкіе камешки, которыми усыпана дорожка. Развѣсистый платанъ, безсильно опустивъ свои длинныя пышныя вѣтви, дремалъ, истомленный полуденнымъ зноемъ.

Было невыносимо душно.

А между тѣмъ молодая женщина на террасѣ куталась въ пуховый платокъ, словно отъ какого-то внутренняго холода.

Картина, довольно обыкновенная въ Ялтѣ. Но я чуть не вскрикнулъ: „Надежда Викторовна!“ когда дама, сидѣвшая на террасѣ, повернулась ко мнѣ лицомъ.

Черезъ минуту я цѣловалъ ея руку, — блѣдную, исхудалую руку, съ голубыми жилками, которыя просвѣчивали сквозь прозрачную кожу.

— Надежда Викторовна... Вы здѣсь... въ глухой сезонъ... какими судьбами?..

Она сдѣлала недовольную гримасу.

— Развѣ вамъ недостаточно еще этихъ блѣдныхъ исхудалыхъ рукъ, этого лихорадочнаго румянца,

этихъ прозрачныхъ, словно восковыхъ ушей?.. Вспомните, какою вы меня встрѣчали въ Москвѣ. Посмотрите, какой жаръ, зной, духота кругомъ. Все живое попряталось. Даже кузнечики перестали трещать въ травѣ. А я сижу на самомъ солнцепекѣ и кутаюсь въ теплый платокъ... меня знобитъ! Неужели вы все-таки не можете догадаться и хотите, чтобъ умирающій самъ вамъ подтвердилъ: я умираю... Ну, да. У ~~меня~~ чахотка, и меня послали умирать въ Ялту. Садитесь.

Лихорадочный румянецъ ~~еще~~ ~~ярко~~ разыгрался на ее впалыхъ щекахъ. Ее необходимо было ~~успокоить~~.

— Надежда Викторовна, право, вы преувеличиваете. Во-первыхъ, вы... вы вовсе не такъ выглядите. Наконецъ, благодатный воздухъ Крыма..

— Въ связи съ креозотомъ, вліяніе котораго на человѣческій организмъ слѣдуетъ признать прямо чудодѣйственнымъ и раціональнымъ режимомъ, согласно компетентнымъ предписаніямъ опытнаго врача... Знаете, вы могли бы быть неоцѣненнымъ собесѣдникомъ для моего милѣйшаго доктора Бефера. Онъ говоритъ мнѣ это каждый день, каждый день!.. Но его-то я еще понимаю. Разъ медицина существуетъ, долженъ же въ нее кто-нибудь вѣрить. Хоть доктора, если ужъ не вѣрятъ паціенты! Ему, наконецъ, выгодно это! Вѣдь если онъ самъ будетъ говорить, что медицина вздоръ, и креозотъ годится только для того, чтобъ имъ лѣчить зубы, кто же будетъ тогда жить въ его меблированныхъ комнатахъ, которыя онъ почему-то назвалъ „климато-лѣчебной станціей?..“ Но вы-то, вы-то зачѣмъ повторяете эти пошлости?.. Если вы хотите меня утѣшить ими,—пожалуйста не труди-

тесъ. Я отлично знаю, что ихъ принято говорить больнымъ даже за полчаса до смерти...— Она съ трудомъ перевела духъ и продолжала:—Я живу здѣсь цѣлый годъ и отлично знаю, что въ Крымъ посылають не лѣчиться, а умирать... Это только всячески скрываютъ отъ насъ... Вы видали здѣсь похороны?

— Нѣтъ, не видалъ...

— И не увидите! Здѣсь все сдѣлано, чтобъ не „разстраивать“ больныхъ: покойника не ~~выносятъ~~, а воруять съ дачи, гдѣ ~~онъ~~ умеръ, самымъ раннимъ утромъ, ~~когда всѣ~~ спятъ. „Чтобъ печальнымъ зрѣлищемъ не наводить больныхъ на мрачныя мысли“. Крадучись, звонять тихонько, чтобы не услыхалъ кто-нибудь, и поскорѣе — въ яму... Вотъ и меня также: бѣгомъ унесутъ, наскоро отпоютъ и поскорѣе, какъ можно поскорѣе—въ могилу; умерла, такъ не мѣшай живущимъ наслаждаться жизнью...

Надежда Викторовна сухо, злобно расхохоталась и закашлялась.

— Надежда Викторовна, милая, бросимъ этотъ разговоръ. Ну, что за тема...

— Это креозотъ-то глотать—значить „наслаждаться жизнью“,—продолжала она, словно не замѣчая моихъ словъ.—Говорили бы прямо наслаждаться креозотомъ... Жизнь! Самое лучшее мѣсто во всей Ялтѣ, это—кладбище,—тамъ, по крайней мѣрѣ, лжи нѣтъ. Мертвые, и надъ каждымъ надписано: „мертвый“. А здѣсь ложь, ложь на каждомъ шагу: въ каждомъ домѣ умирающій, къ смерти приговоренный, заживо разлагающійся мертвецъ, а говорятъ: „больной... пустяки... поправится...“ Вы видали здѣшнее кладбище? Хорошо! Кипарисы стоятъ такіе печальные, словно молятся. Магноліи,

лавры раскинулись. Розы каждую могилку словно прикрыть отъ постороннихъ взглядовъ хотять... Я хочу, чтобъ меня непременно похоронили здѣсь... Я не хочу, чтобъ меня перевозили въ Москву... Опустятъ въ сырую, грязную яму... Бррр... нѣтъ, я не хочу... Какъ это у Лермонтова хорошо сказано: „надо мной, чтобъ вѣчно зеленѣя...“

— Надежда Викторовна, ради Бога, оставимъ же этотъ разговоръ...

— У меня, — продолжала она, попрежнему не замѣчая моихъ словъ, — у меня изъ-за этого кладбища происходитъ вѣчная пикировка съ моимъ милымъ Беберомъ.— „Какъ же это, — говорю, — въ Ялтѣ тридцать докторовъ и вдругъ такое большое кладбище...“ Конфужится... Не любитъ онъ этого кладбища... Враги они — ха-ха-ха! — большіе... А между тѣмъ, кажется, слѣдовало бы быть первыми друзьями...

— Надежда Викторовна!

— А? Что такое? Виновата, я васъ перебила. Вы, кажется, что-то говорили? — словно очнулась она.

— Надежда Викторовна, ради Самого Создателя, бросимъ этотъ разговоръ, — онъ только непріятно дѣйствуетъ и на васъ... и на меня.

— Вы, можетъ-быть, думаете, что это меня устраиваетъ? Что я боюсь смерти? Ни капли. Я привыкла къ ней, къ ея близости. Смотрите, она кругомъ здѣсь, въ этомъ цвѣтущемъ, благоухающемъ городѣ... Это ея резиденція, ея столица. Здѣсь всюду ея вѣрно-подданные, ея жертвы... Она бродитъ здѣсь тихо, неслышно, прячась въ пышныхъ кустахъ розъ и въ задумчивой тѣни платановъ... По лавровымъ и миртовымъ кустамъ она осторожно, неслышно подбирается

къ дачамъ. Я привыкла къ ея близости. Въ длинныя, безсонныя ночи о многомъ передумаешь и ко многимъ призракамъ привыкнешь... Меня не страшитъ мысль унести въ этотъ прозрачный, голубой эфиръ. Смотрите, какъ прекрасенъ онъ надъ этимъ бирюзовымъ моремъ... Все голубое внизу, голубое вверху, голубая безконечность... Смерть не страшна. Страшны всѣ эти приготовления къ ней. Эти доктора, которые ходятъ на ципочкахъ кругомъ васъ, выстукиваютъ, выслушиваютъ умирающее тѣло, по звуку молоточка, по бiенію пульса стараются угадать „ея“ приближеніе. Это вотъ тяжело и страшно, эти дальніе проводы... Вы знаете, я сама стала немножко докторомъ... Безъ вѣры въ медицину только... Отъ долговременной практики я сама научилась различать эти стуки и хрипы... Такъ, знаете ли, когда выстукиваютъ, слышишь: то все полный, полный звукъ и вдругъ, словно по пустому... Значить, „она“... Словно шагъ сдѣлала, и по пустому гробу ея шагъ раздался... Мой милѣйшій Беберъ замѣтилъ ужъ, что я прислушиваюсь, и нарочно, чтобъ меня обмануть, возьметъ да по самому ребру и стукнетъ... „Каковъ звукъ!..“ Ха-ха-ха! Совсѣмъ басовое do!.. Только, кажется, онъ и самъ начинаетъ въ эти стуки по ребрамъ вѣрить, это ужъ совсѣмъ скверно...

— Просто у васъ нервы, Надежда Викторовна, расходились. Все одна да одна. Есть тутъ у васъ знакомые?

— Никого. Да и съ кѣмъ знакомиться? Больные, такъ отъ нихъ, кромѣ „температура „37 и 8“, „38 и 2“, „выпотѣніе“, „хрипы“, „креозотъ“, ничего не услышишь. А мнѣ эти креозоты съ температурами и са-

мой надоѣли. И смѣшно, знаете, и жаль на этихъ бѣдняковъ глядѣть: каждый вѣдь себя увѣрить старается, что ему лучше, что онъ поправляется... А какъ совсѣмъ хорошо стало, глядишь, черезъ день его дачу карболкой окуриваютъ, а на кладбищѣ одной могилкой больше стало... Здѣшніе жители, тѣ только о томъ и думаютъ, какъ бы съ больныхъ, раньше чѣмъ тѣ умереть успѣютъ, побольше содрать... Здоровые пріѣзжіе... Много ихъ тутъ осенью пріѣзжаетъ... Какой-то „пиръ во время чахотки“ устраиваютъ. Бѣсятся, верхомъ скачутъ... Даже глядѣть, знаете ли, на нихъ и завидно и злость беретъ... Говорятъ, что чахоточные ненавидятъ здоровыхъ, нарочно ихъ заразить стараются... И я этому вѣрю. Знаете, дѣйствительно, зло беретъ, когда видишь, что вотъ же живутъ, веселятся люди, ѣдутъ куда имъ угодно, ѣдятъ что имъ угодно, дѣлаютъ что хотятъ, беззаботны, здоровы... Главное — здоровы... Такъ бы и перезаразила ихъ всѣхъ, пусть такъ же чахнутъ, сохнутъ, умираютъ, одинокіе, безъ радостей, безъ надежды... Ахъ, тяжело... Если бъ вы знали, какъ тяжело одной умирать... одной...

— Вы бы взяли себѣ кого-нибудь...

— Ахъ, не то, не то все это!—грустно улыбнулась она. — Зачѣмъ я буду лгать? Умирающіе не лгутъ. Тяжело умирать, не отвѣдавъ даже жизни. Ну, еще поживши, тогда все равно... „Я выпилъ все изъ чаши наслажденья...“ А тутъ и капли-то даже попробовать не пришлось... Умереть, не извѣдавъ ничего... не зная ласки, нѣги, страсти, ничего, что составляетъ радость жизни, ея свѣтлое утро, ея солнце, тепло, ея блескъ, цвѣта и краски...

Она замолчала, грустно поникнувъ головой и медленно ощипывая послѣдніе лепестки завядшей розы, лежавшей на столѣ.

— Общипанный цвѣтокъ, ароматомъ котораго никто даже не насладился! — проговорила она, выбрасывая общипанную розу. — Вы знали моего покойнаго мужа?.. Бракъ потому, что надо же было выйти замужъ. Отжившій человѣкъ, немножко поздно помѣшанный на гигиенически правильномъ образѣ жизни... „Образъ жизни“, а вечеромъ крупная игра въ Охотничьемъ клубѣ... Вѣчныя непріятности съ родными, споры изъ-за наслѣдства... Если за мной тогда и ухаживали, и нравился мнѣ кто, такъ, право, не тѣмъ голова была занята, да и думала къ тому же, что еще вся жизнь предо мною... А потомъ вотъ чахотка. Крымъ... Вы помните, какою я была два года тому назадъ въ Москвѣ? И что теперь! Тяжело умирать такъ, не зная даже жизни... Чахлая, больная...

— Да что вы, Надежда Викторовна... да какая вы... — заговорилъ было я, но запнулся.

Что я могъ сказать ей? Я только прильнулъ поцѣлуемъ къ ея исхудалой, но, дѣйствительно, все еще прекрасной рукѣ.

Быть-можетъ, мой „утѣшительный“ поцѣлуй былъ слишкомъ горячъ и продолжителенъ, но только она расхохоталась долгимъ, серебристымъ, страннымъ какимъ-то смѣхомъ.

— Что? Все еще недурна? Красива?

— Надежда Викторовна...

— А вотъ вы влюбитесь... Влюбитесь... — продолжала она хотѣть все тѣмъ же рѣжущимъ по нервамъ смѣхомъ. — Довольно, однако, глупостей! — вдруг!

оборвала она свой хохоть. Сегодня я неинтересна: съ самаго утра какая-то злюка, да и къ тому же вонъ идетъ мой милѣйшій господинъ Беберъ прописывать мнѣ креозотъ... Ступайте. Когда я буду въ болѣе интересномъ настроеніи, я пришлю за вами. Вы гдѣ остановились? Въ „Россіи“?

— Въ „Россіи“.

— Тамъ всѣ здоровые останавливаются. Хорошо, говорятъ, кормятъ, а вы вѣдь не принимаете креозота?.. Ступайте, ступайте...

Въ калиткѣ я раскланялся съ полнымъ, почтеннымъ господиномъ.

— Шестнадцатый визитъ сегодня, — еще издали крикнулъ онъ своей паціенткѣ, — и всѣмъ лучше!

— И все благодаря истинно чудотворному дѣйствию изумительнаго креозота?!

И снова тотъ же рѣзкій металлическій смѣхъ словно рѣзнулъ меня по нервамъ.

Я былъ слишкомъ разстроенъ, чтобъ итти домой, а прогулка по Ялтѣ еще больше разстраивала мнѣ нервы. У меня изъ головы не выходили слова Надежды Викторовны, я съ какимъ-то недовѣріемъ смотрѣлъ на каждый розовый кустъ, на пышно разросшіеся лавры, словно спрятался за ними кто-то, притаился и подстерегаетъ свою добычу. Каждый шорохъ листьевъ заставлялъ меня вздрагивать... Мнѣ казалось, что среди этого невыносимаго зноя я слышу чье-то холодное дыханіе, чье-то присутствіе, отъ котораго вѣетъ холодомъ... Чье? Изнутри каждой почти дачи слышался тяжелый, удушливый кашель, по набережной, на самомъ солнцепекѣ бродили, какъ тѣни,

закутанные въ теплыя пальто люди съ восковыми, обострившимися лицами...

Я повернулъ поскорѣе въ какой-то переулочекъ и не помню самъ, какъ очутился на кладбищѣ.

Оно было именно таково, какимъ описывала его Надежда Викторовна... Но неужели черезъ нѣсколько дней, быть-можетъ, здѣсь будетъ и она... Она, которая только что съ такой жадностью говорила о любви, о счастья, полная еще жизни, обворожительная, красивая, съ похудѣвшими, но ставшими еще болѣе тонкими, изящными чертами лица, съ лихорадочнымъ румянцемъ, съ какимъ-то затаеннымъ огнемъ, блестящимъ въ глазахъ, со всѣми своими мыслями, думами, стремленіями, не сбывшимися мечтами...

Мнѣ почудился тотъ же рѣзкій, ироническій, за душу хватающій смѣхъ, я вздрогнулъ и зачѣмъ-то наклонился къ ближайшему памятнику, наполовину закрытому кустомъ махровыхъ палевыхъ розъ.

„Здѣсь покоится прахъ дѣвицы Анны такой-то. Лѣтъ отъ рожденія ей было 18 и 6 мѣсяцевъ“.

Какая глупая надпись! „Отъ рожденія“ и „6 мѣсяцевъ“.

На слѣдующій день я только что кончалъ въ ресторанѣ обѣдъ, какъ мнѣ подали записку.

„Не знаю, встрѣча ли со старымъ добрымъ знакомымъ, или что другое на меня такъ повліяло,—писала Надежда Викторовна,—но только я сегодня чувствую себя какъ никогда. Даже докторъ Беберъ нашелъ „значительное улучшеніе“ и приписалъ его всесильному креозоту. Пусть такъ! Въ ознаменованіе такого могучаго дѣйствія г. креозота, я рѣшила во что бы то ни стало ѣхать сегодня на водопадъ. Слышите, во

что бы то ни стало! Пожалуйста не трудитесь „отклонять“: лошади уже наняты, а если вы откажетесь ѣхать, — я поѣду одна. Даже поѣду верхомъ, послѣ чего непременно умру! А потому немедленно прѣзжайте ко мнѣ.

„PS. Поѣздка, конечно, секретъ отъ милѣйшаго г. Бебера, потому что она противна всѣмъ законамъ всесильнаго креозота, управляющаго міромъ!“

Оставалось только ѣхать.

Надежда Викторовна выглядѣла сегодня, дѣйствительно, лучше. Она была положительно восхитительна въ легкомъ, свѣтломъ платьѣ, въ большой кружевной шляпкѣ, и если бы только не этотъ предательскій румянецъ, который горѣлъ сегодня еще ярче...

— Огарокъ вспыхнулъ! — воскликнула она, словно угадывая мою мысль. — Вы удивлены? Какой огарокъ? Этимъ не совсѣмъ красивымъ именемъ я зову себя. Вы видѣли, какъ догораетъ свѣчка? То еле-еле теплится, — вотъ-вотъ, кажется, погаснетъ совсѣмъ, то вдругъ вспыхнетъ такимъ яркимъ свѣтомъ, какимъ никогда не вспыхиваетъ цѣлая свѣча. Потомъ опять замреть... А знаете, кто навелъ меня на эту мысль? Все онъ же, милѣйшій г. Беберъ, великій жрецъ всесильнаго креозота. Онъ завелъ табличку повышеній и пониженій температуры. Вотъ!

Она достала изъ столика и подала мнѣ тщательно съ чисто нѣмецкою аккуратностью разграфленную табличку. Вверху стояли цифры, а посрединѣ она была исчерчена ломаной линіей, которая то поднималась, то падала, указывая повышение и понижение температуры.

— Правда, это очень напоминаетъ вспышки догорающей свѣчи? Смотрите, вотъ пламя поднялось еще

выше, еще ярче, вотъ упало, гаснетъ, гаснетъ со-
всѣмъ, а вотъ снова вспыхнуло... А какъ табличкѣ
конецъ, такъ, навѣрное, и финалъ. Г. Беберъ слиш-
комъ нѣмецъ для того, чтобы портить лишнюю бу-
магу. Онъ и табличку награфилъ на столько прибли-
зительно дней, сколько мнѣ осталось жить. Ого!
Ужъ немного... Но для конца мнѣ хотѣлось бы вспых-
нуть такъ ярко, такъ ярко... Но довольно, однако,
намъ болтать. Прошу, садитесь. Мнѣ нельзя терять
времени...

Пара бодрыхъ, сытыхъ коней быстро вносила на
гору маленькую изящную, плетеную ялтинскую коля-
ску-корзиночку. Парусиновый зонтикъ, протянутый
надъ коляской, плохо защищалъ отъ палящихъ лучей
солнца.

Ни вѣтерка.

На морѣ стоялъ полный штиль. Оно почти не пле-
скалось у береговъ и, подернутое легкою рябью, ка-
залось все покрытымъ маленькими чешуйками изъ
чистаго золота, которыя нестерпимо горѣли и сверкали
на солнцѣ. Отъ раскаленной каменистой дороги, отъ
ограды, отдѣляющей обрывъ, вѣяло жаромъ, и только
въ горахъ стало чуть-чуть прохладнѣе.

Кони, пофыркивая, бѣжали крупною рысью, но ку-
черу приходилось ихъ подстегивать всякій разъ, какъ
мы переѣзжали черезъ прозрачные, какъ хрусталь,
холодные, какъ ледъ, горные ручейки, пересѣкавшіе
дорогу и съ легкимъ журчаніемъ бѣжавшіе по мел-
кимъ камнямъ.

— Какъ хорошо,—говорила Надежда Викторовна,—
эти горы, долины, обрывы... И мы ѣдемъ вдвоемъ,
словно влюбленные... Влюбленные всегда почему-то

ѣздить на водопадъ... Почему? Вѣроятно, потому, что водопадъ шумитъ, и за его шумомъ они сами не слышать тѣхъ глупостей, которыя говорятъ другъ другу... Жаль только, что мы не верхомъ. Влюбленные всегда верхомъ ѣздить... И безъ проводника.

Она смѣялась звонкимъ, веселымъ, серебристымъ смѣхомъ.

— Ну, не права ли я была, — говорила она, когда мы приѣхали на водопадъ, — посмотрите, на всѣхъ столікахъ, скамейкахъ, на загородкѣ, даже на камняхъ, — вездѣ вензеля, и непремѣнно по два и непремѣнно соединены. Смотрите: „А. П.“ и „М. Н.“ и надъ ними двѣ вѣточки. Скажите, какъ трогательно! Ха-ха-ха! А вотъ „И. И.“ и „О. Р.“ и голубокъ! Голубокъ! Смотрите... Ха-ха-ха! Голубокъ!.. Давайте напишемъ „Ѳиту“ и „Ѳжицу“ и надъ ними разорванное сердце... Пусть кто-нибудь подумаетъ, что Ѳита ужасно любила Ѳжицу, а Ѳжица Ѳитѣ „не соотвѣтствовала“. Ха-ха-ха!

И, разглядывая надписи, Надежда Викторовна такъ близко шла къ водопаду, что я нѣсколько разъ долженъ былъ кричать:

— Осторожнѣе! Ради Бога осторожнѣе!

— Идите сюда! — крикнула она мнѣ, дойдя до самаго конца загородки. Вотъ самое лучшее мѣсто.

Мы стояли въ нѣсколькихъ шагахъ отъ водопада. Учанъ-Су тонкой струей, налету превращавшійся въ алмазныя брызги, падалъ съ вершины отвѣсной скалы. Внизу, на самомъ днѣ пропасти, бурлилъ, злился и пѣнился среди камней горный потокъ. Мелкая водяная пыль летѣла намъ въ лицо. Шумъ водопада заглушалъ слова.

— Вотъ гдѣ объясняться въ любви робкимъ влюбленнымъ! — громко говорила Надежда Викторовна. — Трудно разобрать даже слова, и только сердце услышитъ ихъ... А какъ должно звучать здѣсь, подъ этотъ шумъ, слово „люблю“... словно флейта въ оркестрѣ, который играетъ чудную симфонію... Люблю... люблю... люблю... — нѣсколько разъ повторила Надежда Викторовна.

Я скорѣе угадывалъ, чѣмъ слышалъ это слово за шумомъ водопада...

— Однако, пойдете! — вдругъ рѣзко оборвала она. — Скоро вечеръ, становится сыро, а вы не должны забывать, что сопровождаете чахоточную.

Она была задумчива, молчала всю дорогу, и только, когда мы подъѣзжали къ Ялтѣ, сказала, указывая на горы:

— Посмотрите, какія краски и цвѣта... Послѣдніе лучи... Вы видѣли восходъ солнца? Даже восходъ солнца не такъ красивъ, какъ этотъ закатъ... Они нѣжатъ и грѣютъ... Послѣдніе лучи... Вы не знаете какого-нибудь подходящаго стихотворенія? Не знаете? Очень жаль, что не знаете! Вотъ и ваша гостиница „Россія“. Идите, идите. . Не беспокойтесь, я и одна доѣду...

И не успѣлъ я пожать ей руку, какъ она приказала кучеру:

— Пожалуйста какъ можно, какъ можно поскорѣе домой...

Странное дѣло, когда я остался одинъ, въ своей комнатѣ, словно какое-то ощущеніе пустоты наполнило мнѣ грудь. Мнѣ скучно было безъ Надежды Викторовны, безъ этой больной, лихорадочной, капризной, нервной, взбалмошной женщины... Скучно...

Я разъ триста измѣрилъ шагами свою маленькую комнату... Скучно... Боже, какъ скучно безъ...

Я поймалъ себя на этой недоконченной мысли.

— Надо ѣхать...

— Надо непременно ѣхать!—ужъ вслухъ повторилъ я, какъ вдругъ въ дверь раздался стукъ.

Не дожидаясь позволенія, дверь отворилась, и я только отступилъ:

— Надежда Викторовна!

— Вотъ не ждали-то?—весело болтала она, входя въ комнату.—А я взяла и пришла... Во-первыхъ, думаю, бѣдненькій, скучаетъ. Во-вторыхъ, извиниться пришла, что такъ быстро васъ бросила и даже не поблагодарила за вашу любезность. А въ -третьихъ... Въ-третьихъ, мнѣ просто скучно стало... Хорошо начатый день надо хорошо и кончить... Я проголодалась и хочу ужинать у васъ, въ „Россіи“... Ужинать непременно съ шампанскимъ! Я хочу кутить. Мы пойдемъ въ ресторанъ... А пока я присяду и отдохну у васъ. Можно?

— Я такъ радъ, Надежда Викторовна.

— Ну, вотъ и отлично. А какая здѣсь миленькая обстановка!—говорила она, оглядывая комнату.—Очень, очень мило. Козетка, плюшевые табуреты... Совсѣмъ на номеръ не похоже. Скорѣе будуаръ... Совсѣмъ для женщины, а не для такого неинтереснаго мужчины, который и стиховъ-то даже никакихъ не знаетъ... Ха-ха-ха!.. А можетъ-быть, это и такъ? Можетъ-быть, вы нарочно такой номеръ взяли, потому что васъ посѣщаетъ какая-нибудь дама... А?.. Скажите откровенно... Только откровенно... Я вѣдь очень, очень, очень ревнива... Зачѣмъ такая обстановка? У васъ бываетъ какая-нибудь дама сердца?

— Помилуйте, Надежда Викторовна, какая же тутъ въ Ялтѣ можетъ быть дама сердца, когда здѣсь, кромѣ...

Ея лицо покрылось смертельною блѣдностью. Она тихо поднялась съ мѣста.

— Кромѣ?.. Ну, что жъ вы? Договаривайте!.. „Кромѣ чахоточныхъ никого нѣтъ“... Дальше, дальше говорите... „Развѣ ихъ можно любить? Развѣ ими можно увлекаться? Развѣ это женщины... ходячіе... разлагающіеся... трупы“...

Она расхохоталась все тѣмъ же за душу хватающимъ, рѣжущимъ нервы хохотомъ, закашлялась, упала было на диванъ, но вскочила и выбѣжала изъ комнаты.

Я бросился ее провожать.

— Не смѣйте меня провожать!—какъ-то прошипѣла она, останавливаясь въ коридорѣ и глядя на меня злыми, блестящими глазами.—Не смѣйте! Я закричу, если вы будете меня провожать...

Я готовъ былъ задушить себя собственными руками, когда остался одинъ. Что я сдѣлалъ? Боже мой, да въ ту минуту, когда я говорилъ съ ней, я и думать-то забылъ, что она больная,—такой цвѣтущей, здоровой, веселой была она... И вотъ теперь... я чувствовалъ себя, словно ударилъ женщину... Женщину, да еще больную... Что дѣлать? Написать письмо?

Но письмо принесли мнѣ.

„Прошу васъ простить мнѣ мою взбалмошную вспышку, какъ больной,—писала Надежда Викторовна,—вы, можетъ-быть, вовсе даже не то хотѣли сказать, я васъ не дослушала. Умоляю васъ, простите мнѣ эту дику, нелѣпую выходку. Я жду васъ немедленно, сейчасъ. Меня мучитъ мысль, что вы на меня сердитъ“

тесъ. Смотрите, если не прїѣдете, я сдѣлаю Богъ знаетъ что, уйду на берегъ моря, просижу тамъ всю ночь, буду сидѣть нарочно безъ туфель. Пусть завтра докторъ Беберъ изумляется тому, что не помогаетъ креозоть! Пожалѣйте вы хоть этого старичка! Не заставляйте его ломать голову и терять теплую вѣру въ креозоть.

„Р. S. Приходите, ради Самого Бога“.

Она встрѣтила меня на террасѣ и провела въ комнаты. Вечерѣло. Сумерки сгущались. Несмотря на открытыя окна, въ комнатѣ было тяжело дышать отъ аромата розъ, сирени, фіалокъ и ландышей, которые были разставлены и разбросаны всюду.

— Ихъ мнѣ принесъ садовникъ, пока мы ѣздили на водопадъ. Цѣлыхъ двѣ большихъ корзины... Бѣдныя умирающія розы. Къ вечеру онѣ всегда пахнутъ сильнѣе... Я вспрыснула ихъ водой и... на-те вамъ эту розу... Правда, что, умирая, онѣ пахнутъ сильнѣе даже, чѣмъ только что еще распускающійся цвѣтокъ?..

У меня кружилась голова и отъ душнаго вечерняго воздуха, который лился въ открытыя окна, и отъ одуряющаго аромата умиравшихъ цвѣтовъ, и отъ близости этой красивой женщины, съ лихорадочнымъ румянцемъ на щекахъ и загадочнымъ огнемъ въ глазахъ...

— Вы прощаете меня?—спросила она.—Прощаете?.. Да?..

— Надежда Викторовна..

Я,—какъ тогда,—прильнулъ къ ея рукѣ долгимъ, горячимъ поцѣлуемъ. У меня не было силъ оторваться отъ этой блѣдной, дрожащей, красивой руки...

Я чувствовалъ, какъ Надежда Викторовна опустила мнѣ другую руку на голову, какъ ея пальцы запутались у меня въ волосахъ.

— Какіе у тебя славные волосы,—тихо сказала она...

Мы сидѣли на террасѣ и пили кофе, когда докторъ Беберъ явился со своей обычною фразой:

— Семнадцатый визитъ, и всѣмъ лучше.

Я взялся было за шляпу.

— Останься... Оставайтесь, — тотчасъ поправилась Надежда Викторовна,—посидите на террасѣ, а мы съ докторомъ пойдемъ въ комнаты. Сегодня вѣдь милый докторъ не будетъ мучить меня долго?

— О, нѣтъ! Сегодня Надежда Викторовна имѣетъ такой хорошій и молодецкій видъ!—отвѣчалъ милѣйшій въ мірѣ докторъ Беберъ.—Никакое мученіе!

Черезъ четверть часа докторъ выходилъ сіяющій и ликующій:

— О, я всегда говорилъ, что день открытія креозота, какъ средства противъ страданія легкихъ, медицинская эра! Надежда Викторовна, какъ дама, конечно, всегда смѣется надъ креозотомъ. Но посмотрите хоть вы, какою она себя сегодня чувствуетъ!..

— О, креозотъ есть вещь!—говорилъ докторъ, сходя со ступенекъ террасы.

— А я вчера, какъ ты ушелъ, выкинула всѣ креозоты за окошко!—расхохоталась Надя, едва докторъ вышелъ за калитку.

— Зачѣмъ...

— Ни слова!..

Надѣ, дѣйствительно, съ каждымъ днемъ становилось какъ будто легче.

Погода стояла все такая же жаркая, и мы каждый день, едва немножко спадетъ зной, ѣздили куда-нибудь вдвоемъ, въ Гурзуфъ, на водопадъ, въ Алупку.

Ее не утомляли даже самыя дальнія прогулки, и мы ужъ изрѣдка начинали поговаривать о Москвѣ...

Вѣчныхъ разговоровъ о смерти какъ не бывало. Я все-таки уговорилъ ее продолжать лѣченіе, и докторъ Беберъ былъ, какъ нельзя болѣе, въ восторгѣ отъ результатовъ.

Дни летѣли за днями, и Крымъ, этотъ „уголокъ“, созданный для двойки“, казался намъ раемъ.

Надя положительно здоровѣла и здоровѣла.

Я чувствовалъ себя какимъ-то мальчишкой и бѣгалъ даже по всей Ялтѣ покупать перочинный ножикъ, которымъ Надя хотѣла увѣковѣчить на оградѣ у водопада наши имена.

— И непременно съ голубкомъ наверху... Ха-ха-ха!.. Съ голубкомъ непременно!

Только оставаясь одинъ, у себя, въ маленькомъ номерѣ, я начиналъ себя чувствовать ужасно.

Во мнѣ просыпались какіе-то укору совѣсти. Я чувствовалъ себя какимъ-то преступникомъ.

Вѣдь больная... больная она... Гублю я ее, быть-можетъ...

Сколько разъ ходилъ я къ доктору Беберу специально, чтобъ рассказать ему все, но каждый разъ при видѣ этого невозмутимо добродушнаго нѣмца у меня языкъ какъ-то не поворачивался открыть всю правду, и я ограничивался только тѣмъ, что спрашивалъ:

— Докторъ, скажите, не замѣчаете ли вы хоть какого-нибудь, ну, хоть какого-нибудь, ухудшенія?..

— О, будьте спокойны, я наблюдаю совсѣмъ вѣнительно.

— Поправится она, докторъ?

— Незомнѣнно! Незомнѣнно! — неизмѣнно говорилъ онъ, вѣроятно, для приданія своему отвѣту большаго вѣса, даже съ нѣмецкимъ акцентомъ.

Погода круто измѣнилась.

Съ моря, не переставая, дулъ рѣзкій вѣтеръ и рвалъ флаги надъ купальными будками.

Капарисы тихо шумѣли, и съ розъ облетали лепестки.

Загородныя прогулки пришлось оставить, и мы цѣлые дни проводили въ комнатахъ у Нади на дачѣ.

Къ вечеру ей дѣлалось хуже, и температура рѣзко повышалась.

— Ужасная погода! — качалъ головой докторъ Беберъ. — Ужасная для больныхъ погода.

Однажды Надя чувствовала себя особенно плохо съ вечера, и я остался у нея на дачѣ.

Часовъ въ семь утра меня разбудилъ крикъ изъ ея комнаты. Она звала меня къ себѣ.

— Слышишь, — сказала она, вся блѣдная, привставъ на постели и къ чему-то напряженно прислушиваясь.

Прислушался и я.

Въ воздухѣ тихо несся медленный, однотонный погребальный благовѣстъ.

— „Она“ ходитъ... „Она“... — прошептала Надя. — Подойди ко мнѣ, мнѣ страшно...

И ужасъ сквозилъ въ ея широко раскрытыхъ глазахъ.

У меня тоже мурашки побѣжали по всему тѣлу отъ этихъ тихихъ, заунывныхъ похоронныхъ звуковъ.

Въ воздухѣ словно слышалось вѣяніе „ея“.

Надѣ стало хуже.

— О, это погода! Ужасная погода для больныхъ,— покачивая головой, говорилъ докторъ.

И дѣйствительно, когда вѣтеръ стихъ, Надѣ стало лучше.

Она могла снова выходить изъ комнатъ и снова улыбалась мнѣ безъ грустныхъ думъ и тягостныхъ предчувствій.

— Я хочу на берегъ моря!— какъ-то вечеромъ сказала мнѣ Надя.

— Но можно ли?..

— Я хочу!— капризно повторила она.—И если вы не пойдете со мной, я возьму и пойду ночью одна... и утону...

Мы пошли.

— Сведи меня внизъ, туда, туда къ самому морю, я хочу его видѣть поближе, — требовала Надя,—я такъ хочу.

Я осторожно свелъ ее внизъ. Мы стояли въ двухъ шагахъ отъ мокрыхъ камней, на которые забѣгаютъ волны прибоя.

Вѣтеръ стихъ, но поднятое имъ волненіе еще продолжалось. Волны сердито ходили по морю, пѣнились ихъ сѣдые хребты и съ разбѣга бросались онѣ на берегъ и разбивались, превращаясь въ цѣлую копну бѣлой пѣны и обдавая насъ брызгами.

— Отойди отъ меня... оставь меня тутъ... на минутку... одну, — говорила Надя.

— Но, милая...

— Если таковъ мой капризъ... Неужели вы не можете исполнить самаго маленькаго каприза?.. Честное слово, я сдѣлаю какую-нибудь глупость, если ты будешь обращаться со мной, какъ съ ребенкомъ...

Я отошелъ на нѣсколько шаговъ и внимательно наблюдалъ за Надей.

Мнѣ показалось, что она крестится. Я бросился къ ней и схватилъ ее за руки. Подъ руку мнѣ подвернулось что-то холодное и скользкое. Я вырвалъ это у нея изъ рукъ... Это былъ револьверъ.

— Надя... Надя... Милая... Что съ тобой? Что ты хотѣла сдѣлать?..

Она глядѣла на меня какимъ-то потухающимъ взглядомъ.

— Прости... Мнѣ дурно... Я чувствую, что умираю... Мнѣ страшно умирать... мучиться... лучше такъ... сразу...

Ея взглядъ становился безумнымъ.

На берегъ летѣла волна съ сѣдымъ бѣлымъ хребтомъ.

— Ай! — вскрикнула Надя. — Ты видишь, какъ „она“ протянула ко мнѣ бѣлыя руки... Слушай, какой звонъ въ волнахъ... Колоколь... Колоколь... Смотри, вонъ что-то бѣлое притаилось за кустомъ... Бѣлое... Бѣлое... Она... Она...

Съ Надей начинался бредъ. Я схватилъ ее на руки и чуть не бѣгомъ понесъ домой.

Когда пришелъ докторъ, Надя лежала безъ памяти, изъ ея груди вырывалось хрипящее дыханіе.

— Не надо ходить на воздухъ, когда принимаютъ креозотъ! — говорилъ г. Беберъ.

Я рыдалъ, какъ сумасшедшій.

Весь день бредъ перемежался съ забытьемъ. Ей чудились бѣлыя розы и темные кипарисы...

Только къ вечеру она пришла въ себя и позвала меня.

Она лежала съ яркимъ румянцемъ на щекахъ.

— Мнѣ лучше,—сказала она.—Докторъ совершенно правъ: креозотъ отлично помогаетъ, надо будетъ только хорошенько полѣчиться и потомъ... потомъ мы поѣдемъ въ Москву... это была не любовь, а агонія... А тамъ... тамъ будетъ любовь... Помоги мнѣ подняться, я давно не глядѣла въ окно...

Я приподнялъ ее на кровати. Она взглянула въ окно и спросила, силясь улыбнуться:

— Это вечеръ? Да?.. Ты помнишь, я все говорила про послѣдніе лучи...

Что рассказывать дальше?

Мнѣ оставалось только вспомнить ея слова: „возьмутъ рано утромъ, когда всѣ спятъ“, „бѣгомъ понесутъ“, „звонить будутъ тихо, тихо“...

И у „дѣвицы Анны, умершей 18 лѣтъ и 6 мѣсяцевъ отъ рожденія“, прибавилась еще одна сосѣдка.

Когда я шелъ „оттуда“ мимо ея дачи, двери были открыты всѣ настежь, и изъ нихъ несся запахъ карболки.

Дачу тщательно дезинфицировали для новаго „жильца“.



Дочь съвера.

Дочь сѣвера.

Тумина, прекрасную, бѣлокурую дочь сѣвера, привезъ ея милый на южный берегъ Крыма, туда, гдѣ море ласково жмется къ землѣ, гдѣ благоухаютъ розы и цвѣтутъ магноліи.

Больною, измученною грудью, жадно пила Тумина этотъ воздухъ, лившійся съ горъ, и тепло, лившееся съ неба.

Была весна.

Въ развѣсистыхъ платанахъ пѣли соловьи, въ лавровыхъ кустахъ безъ-умолку звенѣли цикады, въ воздухѣ было душно отъ аромата расцвѣтающихъ розъ, а звѣзды сверкали въ темномъ небѣ, какъ крупные брильянты на черномъ бархатѣ и, казалось, были близко-близко отъ земли.

Когда же розовое зарево восхода золотило небо, море и горы, казалось, что во всей природѣ наступалъ веселый, ликующій праздникъ. Скаты горъ казались совершенно бѣлыми отъ цвѣтущихъ персиковыхъ деревьевъ, и на этомъ бѣлоснѣжномъ коврѣ то тамъ, то здѣсь, какъ разбросанныя розы, алѣли цвѣтушіе абрикосы. Рощи сверкали изумрудною зеленью, а

цвѣты съ дрожащими на ихъ лепесткахъ каплями росы казались убранными въ драгоцѣнные камни.

Тихо и лазурно было море.

— Видишь, какъ хорошъ югъ! — говорилъ Туминѣ ея милый. — Вспомни, что теперь дѣлается на твоёмъ бѣдномъ сѣверѣ!

Туминѣ глядѣла на всю эту картину ликующей, расцвѣтающей природы, и тихое чувство какой-то затаенной грусти закрадывалось ей въ душу.

Такъ бѣдная дѣвушка, выйдя замужъ за богача, смотреть наутро на окружающую ее роскошь и блескъ, на дорогія кружева, на бархаты, атласъ, пушистые ковры и роскошные занавѣсы.

И чудится ей другая комната, скромная, бѣдная, съ бѣлыми коленкоровыми занавѣсками и маленькимъ ковромъ, гдѣ она поселилась съ милымъ и дорогимъ человѣкомъ, котораго любила когда-то.

И кажется, будто здѣсь, среди этой роскоши, всякое кружево, бархаты, коверъ, — все смѣется надъ бѣдностью и убожествомъ того уголка и оскорбляетъ самую чистую и дорогую память сердца.

И слезы навертываются на глаза бѣдной дѣвушки...

Въ ложбинахъ и оврагахъ еще бѣлѣетъ снѣгъ, а ужъ на пригоркахъ улыбаются голубые подснежники, шумятъ ручьи, сильнѣе пригрѣваетъ солнце, радостно зеленѣетъ маленькая чахлая травка, пухнуть и наливаются почки, весело кричатъ грачи, а съ вышины лазурнаго неба, словно серебряный колокольчикъ, льется пѣснь жаворонка.

И кажется Туминѣ, что ликующая, торжествующая природа юга смѣется надъ скромными радостями ея родной сѣверной весны.

И тихое чувство грусти закрадывается ей въ душу.

А когда отцвѣли и опали цвѣты, потемнѣла нѣжная зелень, въ воздухѣ стало душно и знойко, море засверкало съ утра до вечера нестерпимымъ золотымъ блескомъ, Туминэ, сидя на своей увитой плющомъ террасѣ, по цѣлымъ днямъ думала о далекомъ сѣверѣ.

Ей чудилось матовое золото нивъ и тѣнистыя рощи, полныя таинственнаго полумрака.

Старыя высокія сосны привѣтливо кивали ей своими вершинами и манили ее въ свою тѣнь.

Кругомъ кипѣли жизнь и движеніе.

Въ травѣ неумолчно трещали кузнечики, въ воздухѣ гудѣли жуки и шмели, въ прохладномъ лѣсу перекликались птицы. А тутъ замерло все, спаленное, выжженное отвѣсными лучами солнца.

Ни звука, ни вѣтерка.

Все куда-то попряталось и убѣжало. Лишь на безплодныхъ гранитныхъ валунахъ дремали разноцвѣтныя ящерицы, то открывая, то закрывая свои маленькіе, умные глаза.

Словно все заснуло, замерло, умерло кругомъ, и однѣ маленькія, умныя ящерицы остались сторожить этотъ спаленный и выжженный міръ.

А море, словно золотая кольчуга, сверкало своимъ нестерпимымъ блескомъ, застывшее въ своемъ вѣчномъ великолѣпіи. Туминэ задыхалась въ этомъ золотомъ, знойномъ воздухѣ, чувство тоски все росло и росло и разрывало ея бѣдную, больную, впалую грудь.

— Домой! Домой! — шептала она, а милый отвѣчалъ на это поцѣлуями.

— Подожди, скоро настанетъ благодатная осень.

Но и осень не принесла ничего, кромѣ тоски по далекомъ сѣверѣ.

Эта пышная, роскошная осень въ неурочное время производила впечатлѣніе вакханаліи въ Страстную пятницу.

Было что-то развратное въ этой запоздавшей осени, съ ея изобиліемъ плодовъ, все еще лѣтнимъ блескомъ солнца, съ зеленью, которая ни за что не хотѣла желтѣть, и розами, которыя все еще расцвѣтали среди бѣдныхъ, поблекшихъ, завядшихъ цвѣтовъ.

Словно старая женщина не хочетъ сдаваться передъ натискомъ времени, все еще молодится и торопится прожечь остатокъ старческихъ дней.

Туминѣ милѣй была холодная, строгая осень родного сѣвера, съ ея унылыми дождями, желтыми листьями и проблесками солнца, которые появляются рѣдко, какъ улыбка на устахъ женщины, кающейся и оплакивающей порывы и прегрѣшенія молодости...

Туминѣ утомилъ этотъ слишкомъ затянувшійся пирь.

Она слегла и не выходила уже изъ дома. За окномъ тоже моросилъ мелкій дождикъ, и бушевало темное море.

Но зато на сѣверѣ... Тамъ бѣлой пеленой сверкали теперь поля, и ничто не возмущало священной тишины.

По цѣлымъ днямъ, отвернувшись къ стѣнѣ, думала Туминѣ объ этихъ бѣлыхъ поляхъ, и ей казалось, что одна струя свѣжаго морознаго воздуха, ворвавшись въ ея больную, изстрадавшуюся грудь, наполнить всю ее радостью, жизнью, весельемъ.

Она видѣла уже эту безбрежную бѣлую пелену, сверкающую на солнцѣ, и ей казалось, что стоитъ

повернуться и взглянуть въ окно, и она увидитъ, вмѣсто сѣрой и грязной картины, далекое бѣлое поле и опушенную инеемъ березу.

Такъ думала она, когда однажды утромъ, повернувшись къ окну, вся задрожала отъ радости.

— Милый! Милый! Смотри!

Въ воздухѣ летали, кружились и падали на землю бѣлыя снѣжинки, пышнымъ уборомъ покрывая желто-бурую вымокшую траву и безобразно торчащія голыя вѣтви деревьевъ.

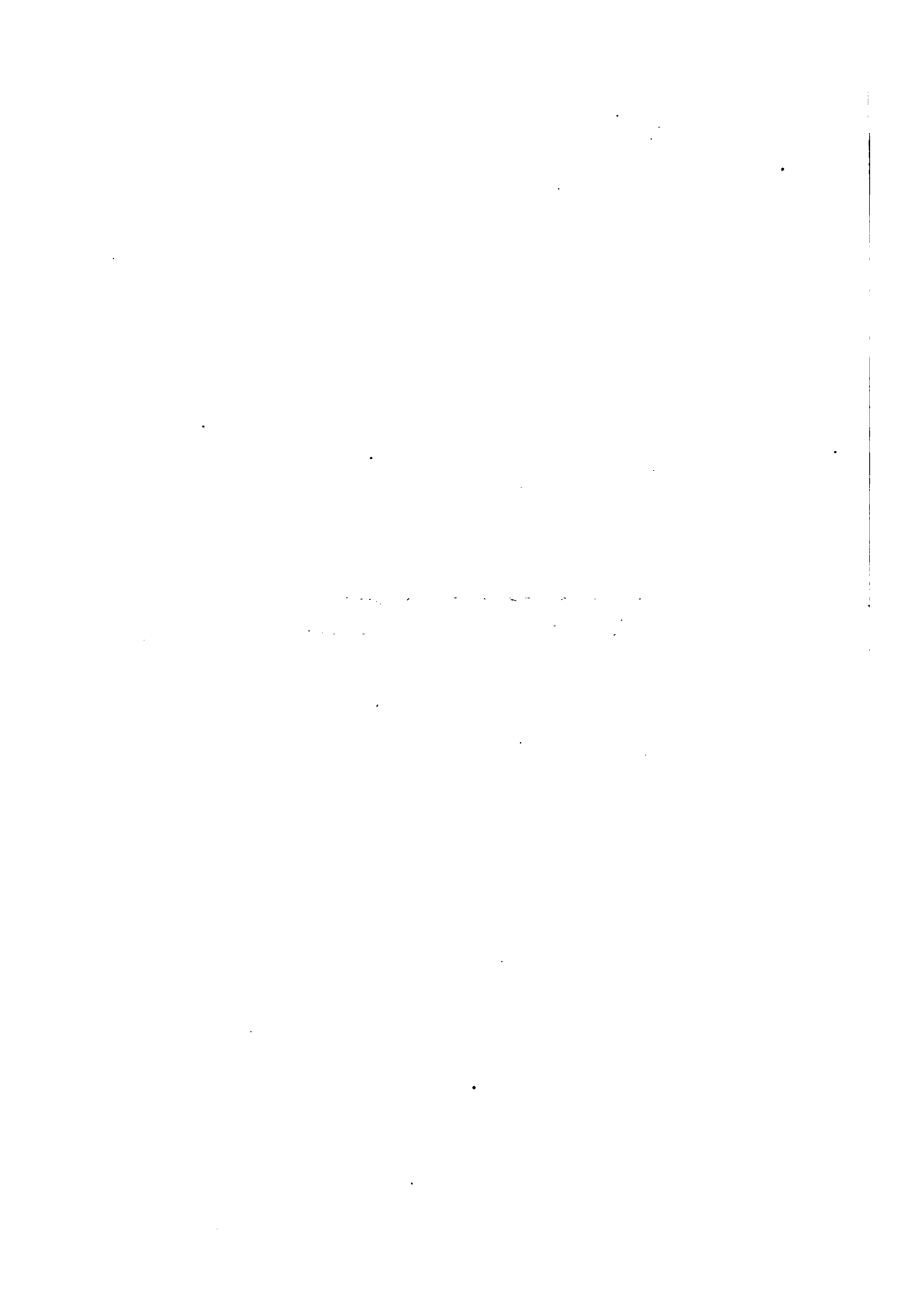
Солнце весело играло и зажигало алмазы на этой бѣлой пеленѣ, а снѣжинки все сыпались, сыпались, сыпались съ неба!

— Снѣгъ!.. Снѣгъ!..—радостно крикнула Туминэ и упала мертвая на руки своего милаго...

Точно такъ же умерла одна прекрасная дѣвушка, увидѣвъ издали возвращающагося своего милаго, котораго не думала уже видѣть въ живыхъ...



МУЖЪ.



М у ж ъ.

— Мой мужъ! — сказала Анна Александровна.

Я съ большимъ интересомъ посмотрѣлъ на длинную, нескладную фигуру какого-то безцвѣтнаго блондина, въ мягкой пуховой шляпѣ, неуклюже приподнявшагося изъ-за столика.

Чѣмъ могъ такъ прельстить Анну Александровну этотъ господинъ, что она, цѣнившая свободу наравнѣ съ жизнью, вышла за него замужъ?

Почему изъ всей свиты своихъ поклонниковъ она выбрала самаго неинтереснаго?

Насъ всѣхъ тогда и въ Москвѣ это удивило.

Она любила жить, умѣла жить и жила.

Около нея поклонники финансоваго міра чередовались съ поклонниками міра артистическаго.

Она такъ весело жила среди „своихъ“ финансистовъ, пѣвцовъ, музыкантовъ, какихъ-то скульпторовъ, въ которыхъ открывала талантъ, а „главное — бездну вкуса“, и вдругъ вышла замужъ за какого-то Василя Ивановича, котораго никто даже не замѣчалъ, на котораго она сама, наконецъ, не обращала никакого вниманія.

Что онъ такое, этотъ мужъ?

Счастливецъ, укротившій, наконецъ, эту неукротимую женщину, или...

„Мужъ я царицы,
Мужъ я царицы!..“

вдругъ замурлыкалъ про себя молоденькій, хорошенькій офицерикъ, сидѣвшій рядомъ съ Анной Александровной. Видимо, только что еще произведенный, онъ былъ великолѣпенъ въ своемъ мундирчикѣ съ иглочки и смотрѣлъ на Божій міръ съ вызывающимъ видомъ только что вылупившагося цыпленка.

Это было слишкомъ даже для хорошо пообѣдавшей разнокалиберной компаніи ялтинскихъ „больныхъ“.

Я замѣтилъ, какъ передернулось лицо Василія Ивановича при этомъ знакомомъ мотивѣ, а Анна Александровна строго замѣтила вполголоса:

— Алексѣевъ!

Наступило неловкое молчаніе, но, къ счастью, татары какъ разъ подвели лошадей, всѣ начали садиться, кромѣ меня и Василія Ивановича.

— Василій Ивановичъ не любитъ ѣздить верхомъ! — сказала мнѣ на прощанье Анна Александровна. — Посидите съ нимъ, вы только что пріѣхали и, навѣрное, скучаете, какъ и всѣ въ Ялтѣ. Мы вернемся часа черезъ два: въ горахъ скоро темнѣетъ.

Офицеръ помогъ ей вскочить на лошадь, вскочилъ самъ, зачѣмъ-то при помощи мундштука поднялъ лошадь на дыбы и поѣхалъ съ нею рядомъ, сказавъ, вѣроятно, какую-нибудь глупость.

Анна Александровна звонко расхохоталась, и этотъ смѣхъ снова заставилъ, какъ и давеча, передернуться Василія Ивановича.

Онъ съ какой-то злобой посмотрѣлъ имъ въ слѣдъ Кавалькада быстро удалялась, а онъ все смотрѣлъ имъ въ слѣдъ съ тою же не то злобой, не то болью, не говоря ни слова.

— Давно мы не видались съ Анной Александровной! — началъ я для того, чтобы какъ-нибудь прервать это тяжелое молчаніе.

— Да, съ самой Москвы... она говорила.

— А гдѣ вы жили послѣднее время? Вѣдь вы тогда сейчасъ же послѣ свадьбы уѣхали.

— Да... сейчасъ же... Потомъ жили въ Петербургѣ, въ Кіевѣ, въ Одессѣ...

Василій Ивановичъ перечислялъ всѣ эти города съ какою-то злобой, словно своихъ враговъ. Перечислилъ и опять погрузился въ то же мрачное молчаніе.

— А Анна Александровна за эти четыре года ни капли не перемѣнилась! — снова началъ я.

— Да, она все та же, — все тѣмъ же мрачнымъ тономъ отвѣтилъ онъ и вдругъ спросилъ: — Вы пьете красное вино?

— Да.

— Тогда пойдѣмте. Я отыскалъ здѣсь хорошее. И недорого. Въ Мордвиновскомъ саду есть лавка, гдѣ пашлыки дѣлаютъ. Вотъ тамъ. Хотите?

— Пожалуй.

Мы молча прошли по набережной, молча свернули въ Мордвиновскій садъ и молча же усѣлись за столы передъ татарской лавочкой.

Здѣсь Василя Ивановича и его вкусы знали, очевидно, отлично. Татаринъ встрѣтилъ его поклонами, немедленно сбѣгалъ за бутылкой вина.

Мы такъ же молча сидѣли и потягивали крымскую кислятину.

По набережной ѣхали то за городъ, то изъ-за города.

Въ Мордвиновскомъ саду у фруктовыхъ лавочекъ толпились покупатели.

Около толстаго Ибрагима стояла какая-то полная, пожилая дама и весело визжала, вѣроятно, выслушивая интересныя глупости.

Около столиковъ, гдѣ продаются виноградные выжимки, сидѣла компанія „больныхъ“ и весело смѣялась, даже несмотря на то, что пили въ эту минуту величайшую гадость изъ всѣхъ гадостей на свѣтѣ!

Татарчонки приставали къ прохожимъ, предлагая крупныя махровыя розы.

Все было полно шума, движенія, суеты, а мы сидѣли молча, опоражнивая стаканъ за-стаканомъ.

— Я здѣсь бываю каждый вечеръ! — проговорилъ, наконецъ, Василій Ивановичъ. — Не люблю я этихъ ихъ театровъ, ресторановъ.

Слово „ихъ“ онъ подчеркивалъ опять съ какой-то злобою.

— Мерзость! Все мерзость! Театръ здѣсь—гадость. Рестораны—кабаки. Вообще эта Ялта большой кафе-кабакъ. Пріѣзжаютъ скучающіе шалопаи, съ жиру бѣсящіяся старухи, говорятъ пошлости, дѣлаютъ пошлости!..

Онъ начиналъ немного пьянѣть.

Онъ пилъ такъ, какъ пьютъ русскіе люди. Гамлетовски пилъ.

Медленно, сосредоточенно, словно дѣйствительно топя въ этомъ стаканѣ какую-то мучительную думу, какую-то затаенную душевную тоску.

— Только и удовольствіе, что напиться, — сказалъ онъ, оставляя пустой стаканъ и приказывая еще разъ перемѣнить бутылку, — тошнить отъ этой пошлости. Всѣ словно по одному опошлѣвшему вконецъ рисунку выглѣплены. Дама — такъ она обязательно съ лорнетомъ. Мужчина... Возьмите хоть этого, какъ его?.. Ну, вотъ, этого юношу, только что вышедшаго отъ портного... Алексѣевъ, что ли? Да вѣдь онъ, ухаживая, ни одного слова, кромѣ самыхъ банальныхъ пошлостей, не скажетъ, — а добьется, самымъ пошлымъ образомъ хвастаться будетъ, вѣдь это ему украшеніе къ сюртучку. Побѣда! Ха-ха-ха! Побѣда!..

Бѣдняга такъ зло и иронически хохоталъ надъ этимъ словомъ, будто хотѣлъ сказать:

— И вся-то эта побѣда гроша переломленного не стоитъ!

Мнѣ становилось жаль этого несчастнаго, пьянѣвшаго челоуѣка. Онъ ломался, куражился надъ собой, оскорблялъ то, что было ему дороже всего въ жизни, мучилъ себя и самъ наслаждался своими мученіями, болѣзненно, мучительно наслаждался.

Это бываетъ. При нестерпимой зубной боли люди бьются же головой объ стѣну, чтобъ новой болью заглушить прежнюю.

— Побѣда!!!

На набережной раздался стукъ копытъ. Василій Ивановичъ насторожился. Мимо проскакала какая-то незнакомая кавалькада.

— Пошляки! — выругалъ ихъ Василій Ивановичъ. — Да вѣдь они боятся настоящаго-то чувства, настоящей страсти, которая бы въ одну минуту захватила, перевернула челоуѣка, — въ одну минуту другимъ чело-

вѣкомъ его сдѣлала. Да вы не улыбайтесь!—вдругъ ни съ того ни съ сего обратился онъ ко мнѣ.—Нечего улыбаться. Бываетъ это. Бываетъ, что захватить тебя, перевернуть всю душу. Дѣйствительно, сожжешь сразу все, чему поклонялся. Себѣ въ душу заглянешь, самого себя не узнаешь: да это какой-то другой человѣкъ. И начнетъ этотъ другой человѣкъ жить по-новому... Самъ удивляешься, а чувствуешь, что иначе жить не можешь: охватила его страсть и тянетъ и влечетъ неумолимо, неотразимо. И страшно... и все-таки чувствуешь, что цѣль жизни есть.

— А они не могутъ!—вдругъ закончилъ онъ.-- А кажется, гдѣ бы и переродиться, какъ не здѣсь? Гдѣ бы и глотать поэзію жадно раскрытымъ сердцемъ, какъ не здѣсь. Вѣдь посмотрите кругомъ: вся поэзія, и это померкнувшее море, и эти розоватыя облачка заката, и послѣдніе лучи на вершинахъ горъ... А они пошлости говорятъ, да еще себя же Донъ-Жуанами считаютъ! Да вѣдь Донъ-Жуанъ-то перерождался съ каждой любимой женщиной, вѣдь онъ съ каждой становился другимъ человѣкомъ, вѣдь вы его посмотрите съ Лаурой и Донной-Анной. Развѣ это одинъ и тотъ же человѣкъ? Вы прочтите, подумайте, вникните въ эти чудные стихи. А правда чудно это у Пушкина?

— Еще бы!

— Я, признаться, люблю стихи. Оно мнѣ немножко не къ фізіономіи, но люблю, помните, напримѣръ, вотъ это, Донъ-Карлосъ говоритъ:

„Ты молода, и будешь молода
Еще лѣтъ пять иль шесть.
Вокругъ тебя

Еще лѣтъ шесть они толпятся будутъ,
Тебя ласкать, лелѣять и дарить,
И серенадами ночными тѣшить“.

Вѣдь это что же, я васъ спрашиваю? А впрочемъ, „ничего, ничего, молчанье“, какъ говорилъ покойный Бурлакъ въ „Запискахъ сумасшедшаго“. Вотъ былъ артистъ!.. Кстати, вамъ пора въ театръ. Идите, свечерѣло, а я домой. Такъ и скажите Аннѣ Александровнѣ. А впрочемъ, ничего не говорите Аннѣ Александровнѣ.

Онъ подаль мнѣ руку и, слегка пошатываясь, пошелъ изъ сада.

Въ театрѣ Анна Александровна была еще болѣе эффектна: она только что вернулась съ прогулки, слегка раскраснѣлась, лицо горѣло. Ея юный кавалеръ сіялъ и былъ влюбленъ въ свою даму тоже болѣе обыкновеннаго.

Про Василя Ивановича она даже и не спросила.

Только когда я сказалъ ей, что онъ отправился домой, она тихонько спросила:

— Что онъ?.. Того...

— Да, нѣсколько...

Она поморщилась.

— И это каждый день!

— Смотрите, Анна Александровна!

Она посмотрѣла на меня вопросительно и удивленно:

— Ничего!.. Онъ смирный...

Провожать Анну Александровну на ея дачу мы отправились всей компаніей, и на прощанье я имѣлъ счастье любоваться, какъ юный офицерикъ разъ десять поцѣловалъ руку Анны Александровны. Да и она не особенно торопилась отнять руку.

На дачѣ было темно. Василій Ивановичъ, очевидно, спалъ.

Всѣ послѣдующіе дни я встрѣчалъ Анну Александровну не иначе, какъ въ сопровожденіи цѣлой ватаги ухаживателей, среди которой обязательно присутствовалъ г. Алексѣевъ, кажется, каждый день въ новомъ мундирѣ. Онъ имѣлъ побѣдоносный видъ чело­вѣка, который, хотя еще и не добился успѣха, но уже въ немъ увѣренъ! Такъ Донъ-Жуанъ, вѣроятно, смотрѣлъ, когда приглашалъ на ужинъ статую командора.

Василій Ивановичъ по обыкновенію былъ молчаливъ въ обществѣ и довольно пьянъ каждый вечеръ въ Мордвиновскомъ саду.

Впрочемъ, онъ, видимо, избѣгалъ встрѣчи со мною, быть-можетъ, стыдясъ, что, кажется, немножко проболтался въ первый вечеръ.

Такъ все шло тихо и мирно, какъ вдругъ однажды рано утромъ меня разбудила прислуга, сказавши, что меня спрашиваетъ какая-то дама.

Я наскоро одѣлся. Это была Анна Александровна взволнованная, чѣмъ-то встревоженная.

— Анна Александровна? Это вы?

— Да, я... я... Не былъ у васъ Василій Ивановичъ?

— Нѣтъ, а что?

— Ахъ, если бы вы знали, что случилось... Я нарочно прибѣжала сама, думала, не застану ли его у васъ... Я теряю голову...

Я попросилъ ее зайти ко мнѣ, успокоиться и рассказать, въ чемъ дѣло.

— Ужасная, прямо ужасная исторія!

Вчера ее провожалъ изъ театра Алексѣевъ одинъ... У нея разболѣлась голова, хотѣли провожать всѣ. Но

она не пожелала. Зачѣмъ портить всѣмъ вечеръ? Ее проводилъ одинъ Алексѣевъ... Всю дорогу онъ говорилъ ей по обыкновенію глупости... Шутили, смѣялись... Подойдя къ дачѣ, онъ уговаривалъ пройти еще. Ну, цѣловалъ ручки... Словомъ, ничего особеннаго... Какъ вдругъ изъ калитки появился Василій Ивановичъ... По обыкновенію немножко пьяный... Но такимъ она его никогда не видала... Крикнулъ на Алексѣева: „не смѣйте цѣловать рукъ моей жены“, даже толкнулъ, кажется... Алексѣевъ его вызвалъ на дуэль... Она убѣждала, заперлась, заснула только подъ утро... Дрожала... Василій Ивановичъ велъ себя ужасно; переколотилъ массу вещей, бранился, требовалъ еще вина... Словомъ, такимъ онъ никогда не былъ... А сегодня утромъ она просыпается, — онъ исчезъ изъ дома... Что ей теперь дѣлать?

— Вы знаете, онъ никого изъ нихъ не любитъ... Но къ вамъ онъ относится хорошо...

Тутъ Анна Александровна слегка покраснѣла и добавила:

— Быть-можетъ, потому, что относительно васъ ему не приходится въ голову никакихъ глупостей... Ради Бога повліяйте хоть вы на него...

— Нехорошо все это, Анна Александровна...

— Ахъ, я сама теперь вижу, что нехорошо... Но я его такимъ никогда не считала... Онъ всегда былъ какой-то странный, непонятный, экзальтированный... Вѣдь и эта свадьба! Онъ... я... мы только повѣнчаны... Онъ самъ тогда пришелъ, говорилъ: вами, Анна Александровна, увлекаются сильно, но люблю васъ только я... Будьте же моей женой, я буду только вашимъ другомъ... Я же его отговаривала, —

онъ объявилъ: я не буду заявлять никакихъ правъ, но я чувствую, что безъ васъ мнѣ нѣтъ жизни... Говорилъ про то, что любовь захватила его всего, что онъ не въ силахъ бороться... Говорилъ, что у него будетъ надежда, медленно, капля по каплѣ, перелить, какъ онъ выражался, любовь въ мое сердце... Что, быть-можетъ, когда-нибудь я пойму, оцѣню... не теперь, потомъ... черезъ нѣсколько лѣтъ...

Мнѣ вспомнились Пушкинскіе стихи:

„Ты молода и будешь молода,
Еще лѣтъ пять или шесть“...

— Вотъ-вотъ это самое... Это его любимые стихи. Онъ даже подарилъ мнѣ альбомъ исключительно для моихъ только портретовъ... Я люблю сниматься... И тамъ написалъ эти стихи... Я тогда, какъ слѣдуетъ, не подумала, мнѣ показалось это оригинальнымъ, я вышла замужъ...

— И неужели никогда онъ... вы никогда ни видали его, какъ выражаетесь, „такимъ“...

— Какъ вчера? Ничего подобнаго. Иногда маленькія сцены, онъ иронизировалъ, называлъ меня Донъ-Жуаномъ въ юбкѣ, себя звалъ Лепорелло, говорилъ, что ведетъ счетъ, ждетъ, когда будетъ *mille e tre*... Ну, я уходила, не пускала его къ себѣ, потомъ онъ просилъ прощенія, умолялъ „не гнать отъ себя“, вообще былъ жалокъ... Но вчера... этотъ скандалъ!

— Я постараюсь уладить скандалъ... Съѣзжу къ г. Алексѣеву...

— Вы понимаете, — вдругъ необыкновенно горячо воскликнула Анна Александровна, — я не хочу, чтобъ это произошло... Если нужно, я сама поѣду къ этому

мальчишкѣ и буду умолять его отказаться отъ дуэли...

Я посовѣтовалъ ей пока этого не дѣлать, кое-какъ успокоилъ, обѣщалъ заѣхать сказать, и едва успѣлъ выпроводить ее отъ себя, какъ вошелъ Василій Ивановичъ.

Онъ былъ немного блѣденъ, но совершенно спокоенъ.

— Я пришелъ васъ просить быть моимъ секундантомъ, — прямо началъ онъ, — ради Бога, не вздумайте отговаривать, разстраивать, это должно быть. Не съ нимъ, такъ съ другимъ...

Я притворился незнающимъ, въ чемъ дѣло, и выслушалъ то же самое, что рассказала мнѣ и Анна Александровна.

Василій Ивановичъ рассказывалъ спокойно, даже, если хотите, холодно, какъ человѣкъ, который все уже рѣшилъ, взвѣсилъ, обдумалъ, и спокоенъ, потому что знаетъ, что должно дѣлать.

Оставалось только ѣхать къ г. Алексѣеву, узнать его секундантовъ.

Кое-какъ въ ялтинскомъ „японскомъ“ магазинѣ рѣдкостей нашли пару пистолетовъ, отыскиали доктора и рѣшили стрѣляться у водопада Учанъ-Су, раннимъ утромъ.

Къ Аннѣ Александровнѣ я заѣхалъ только къ вечеру.

Она, видимо, много плакала, даже перемѣнилась въ лицѣ и ждала моего появленія съ нетерпѣніемъ.

— Не обманывайте и не лгите! — сразу встрѣтила она меня. — Они дерутся?

— Да!

— Боже! Боже! Что же это будетъ?!

Она заломила руки и зарыдала, упавши на диванъ лицомъ.

Я попробовалъ ее успокоить. Совѣтовалъ ей уговорить Василю Ивановича, когда онъ вернется домой, но она отвѣчала только одно:

— Онъ не придетъ... Онъ больше никогда не придетъ... Я знаю его... Онъ больше никогда не придетъ...

И она не ошиблась: Василій Ивановичъ, дѣйствительно, не пришелъ въ этотъ вечеръ ни домой, ни ко мнѣ.

Ко мнѣ онъ явился только въ четыре часа утра, спросилъ, все ли готово, и торопилъ меня одѣваться:

— Пора.

Мы верхами отправились на Учанъ-Су: я, другой секундантъ изъ „компаніи“ Анны Александровны, взятый для полнаго соблюденія „формы“, о которой очень заботился г. Алексѣевъ, и Василій Ивановичъ.

Мы поѣхали черезъ Аутку, потому что по другой дорогѣ выѣхалъ г. Алексѣевъ со своими секундантами и докторами.

Въ горахъ было прохладно. Звонко раздавался топотъ коней въ горной тишинѣ. Это была какая-то священная тишина, которой никто изъ насъ не прервалъ ни однимъ словомъ.

Василій Ивановичъ былъ немножко блѣденъ, но спокоенъ и сосредоточенъ. Онъ имѣлъ какой-то дѣловый видъ.

Спокойно приподнявъ шляпу въ отвѣтъ на поклонъ г. Алексѣева и его секундантовъ, спокойно прошелъ къ водопаду и, остановившись на предпоследней площадкѣ, дѣловымъ голосомъ спросилъ:

— Здѣсь?

Отсчитали шаги, зарядили оружіе и поставили противниковъ.

Г. Алексѣевъ, видимо, бравировалъ, старался держаться какъ можно красивѣе, и даже, становясь на мѣсто, сказалъ съ улыбкой какую-то шутку своему секунданту.

Секундантъ тоже улыбнулся, но обѣ улыбки вышли какими-то кривыми.

Василій Ивановичъ былъ серьезенъ и совершенно спокоенъ; на наше предложеніе покончить дѣло миромъ, онъ, прежде чѣмъ г. Алексѣевъ успѣлъ пошевелить губами, отвѣтилъ:

— Нѣтъ.

И намъ оставалось только скомандовать стрѣлять.

Пистолетъ г. Алексѣева слегка дрожалъ, Василій Ивановичъ яснымъ и спокойнымъ взглядомъ смотрѣлъ на противника, словно на мишень.

Скомандовали, и пара выстрѣловъ, одинъ сейчасъ же вслѣдъ за другимъ, звучнымъ эхомъ раскатились по лѣсистому ущелью среди неумолчнаго шума водопада.

Василій Ивановичъ, медленно опуская пистолетъ, стоялъ на мѣстѣ.

Г. Алексѣевъ выронилъ пистолетъ и схватился за руку.

Доктору, впрочемъ, не пришлось много хлопотать съ перевязкой: рана оказалась совсѣмъ пустячной.

По условію, при первой крови поединокъ былъ конченъ.

— Все? — равнодушно спросилъ Василій Ивановичъ, когда я подошелъ къ нему за пистолетомъ.

Такъ же молча мы доѣхали до Ялты.

— Еще одна просьба! — сказалъ онъ, когда мы подъѣзжали къ городу. — Я ѣду въ Центральную гостиницу, гдѣ взялъ номеръ со вчерашняго дня. Съѣздите ко мнѣ на дачу, возьмите мои вещи и привезите ихъ мнѣ. Но вы даёте мнѣ честное слово, что не скажете Аннѣ Александровнѣ, гдѣ я.

Я согласился.

— Помните же честное слово! — крикнулъ онъ мнѣ на прощанье.

Анну Александровну трудно было бы узнать. Она, видимо, не ложилась совсѣмъ и ждала меня на террасѣ.

Когда она увидала меня одного, ея осунувшееся за эту ночь лицо покрылось смертельной блѣдностью: — Убить?

Я поспѣшилъ успокоить. О г. Алексѣевѣ она даже и не спрашивала, и вѣроятно, не слышала даже моего разсказа про его рану.

Когда же я сказалъ ей о вещахъ Василя Ивановича, она снова поблѣднѣла, какъ полотно, и крѣпко сжала мою руку, съ какимъ-то лихорадочнымъ огнемъ горѣвшими глазами спросила:

— Гдѣ онъ?

Напрасно я говорилъ ей о своемъ честномъ словѣ, честнаго слова нельзя сдержать, если передъ вами становится на колѣни страдающая женщина.

Я назвалъ Центральную гостиницу, попросилъ сложить вещи, и когда будетъ готово, прислать ихъ ко мнѣ.

Ждать пришлось долго: къ вечеру вмѣсто вещей я получилъ съ человѣкомъ изъ Центральной гостиницы письмо.

Писала Анна Александровна.

„Простите, что уѣзжаемъ, не простившись съ вами.

„Пожелайте намъ счастья въ новой жизни. Жму вашу руку. До свиданья“.

Записку Анна Александровна передала, уже садясь въ почтовый экипажъ.

Г. Алексѣва я встрѣтилъ на другой день на набережной.

Онъ сіялъ, какъ сіяютъ герои шикарной исторіи, которую знаетъ весь городъ. А рука на черной перевязкѣ дѣлала его еще болѣе интереснымъ.



СЧАСТЬЕ.

Счастье.

Разговоръ зашелъ о счастья.

— Счастье! — это слово одни произносили съ отъѣнкомъ меланхолической грусти, другіе — съ отъѣнкомъ скептицизма; никто спокойно.

— Я зналъ въ своей жизни только одного счастливаго человѣка, — сказалъ Иванъ Ивановичъ.

— Это былъ?

— Одинъ изъ моихъ товарищей, теперь уже покойный; его звали Василиемъ Петровичемъ. Милый, добрый, тихій. Одинъ изъ тѣхъ, которые заслуживаютъ всяческаго счастья и обыкновенно не имѣютъ никакого. Онъ былъ женатъ. Когда рѣчь заходила объ его женѣ, его лицо становилось необыкновенно нѣжнымъ, и мы думали: интересно знать, что она дѣлаетъ съ такимъ рохлей.

Однажды онъ пригласилъ насъ къ себѣ. Онъ встрѣтилъ насъ въ передней и ввелъ въ комнаты съ такимъ видомъ, съ какимъ вводятъ въ святилище; а на лицѣ было написано столько счастья, — очевидно, онъ хотѣлъ передъ нами похвастаться! Его жена оказалась совсѣмъ не подѣ стать нашему рохлѣ. Пикантная блондинка, смазливая и бойкая. Онъ смотрѣлъ на

нее съ обожаніемъ. За чаемъ вышли дѣти. Есть такія дѣти! Дѣти — улика. Дѣти живые свидѣтели паденія ихъ матери и позора ихъ отца. Дѣти, которымъ лучше бы не родиться на свѣтъ или умереть еще тогда, когда нельзя опредѣлить настоящаго цвѣта ихъ волосъ. У рохли-блондина и блондинки его жены были дѣти-брюнеты. Мы давились отъ смѣха, боясь взглянуть другъ на друга, а Василій Петровичъ говорилъ:

— Какая досада, что сегодня не можетъ быть нашъ добрый знакомый армянинъ. Чудная личность! Онъ у насъ бываетъ каждый день. Мы его любимъ, какъ родного, и даже дѣти... Вы знаете, что дѣти инстинктивно любятъ всѣхъ хорошихъ людей. Мои дѣти любятъ его, — ну, не меньше, чѣмъ меня.

И онъ смѣялся довольнымъ, добродушнымъ смѣхомъ человѣка, у котораго есть прелестныя дѣти, любящая жена и преданный, испытанный другъ.

— Я счастливъ въ моемъ маленькомъ кружкѣ. Счастью не нужно палатъ, — оно живетъ въ уголкѣ.

Выйдя отъ него, мы въ одинъ голосъ сказали:

— Болванъ.

Но болвану и этого было мало. На слѣдующій день онъ при всѣхъ громко обратился ко мнѣ:

— Вы замѣтили удивительную игру природы? Я блондинъ, жена блондинка, а всѣ дѣти брюнеты. Не правдали ли, замѣчательно?

Это было томительное молчаніе.

— А вы знаете, кто въ этомъ виноватъ?

Онъ, улыбаясь, обвелъ всѣхъ вопросительнымъ взглядомъ.

— Нашъ знакомый армянинъ.

Вся канцелярія уткнулась въ бумаги.

— Да, да, это онъ, — весело продолжалъ Василій Петровичъ. — Вы знаете, что когда женщина бываетъ въ интересномъ положеніи, дѣти бываютъ похожи на того, кого она чаще всего видитъ. Нашъ добрый знакомый армянинъ бываетъ у насъ ежедневно, — когда жена бываетъ больна, въ особенности. Вотъ почему всѣ наши дѣти брюнеты!

Но дураку и этого было мало. Онъ имѣлъ еще геройство спросить:

— Не правда ли, это замѣчательно? Я хотѣлъ объ этомъ написать въ какой-нибудь медицинскій журналъ и довести до свѣдѣнія публики.

Мы уже не смѣялись. Намъ было стыдно сидѣть съ такимъ дуракомъ.

Но дуракъ не унимался. „Нашъ добрый знакомый армянинъ“ былъ самой любимой темой его разговора. Каждый день онъ намъ рассказывалъ что-нибудь новое про „нашего добраго знакомаго армянина“, и молодежь встрѣчала его вопросами:

— Ну, что подѣлываетъ нашъ добрый знакомый армянинъ?

Тѣ, кто постарше, съ негодованіемъ молчали. Это уже переходило всякія границы: это уже значило хвастаться своей глупостью.

— Моей женѣ нужно было вчера ѣхать въ Москву, — рассказывалъ Василій Петровичъ молодежи.

— Вотъ мы думаемъ, вы волновались?

— Еще бы! Молодая женщина, первый разъ въ жизни, должна ѣхать одна. Какъ вдругъ, можете себѣ представить наше удовольствіе? Пріѣзжаемъ мы на вокзалъ...

— Нашъ добрый знакомый армянинъ?

— А вы почему знаете?

— Думаю.

— Онъ самый. Оказывается, что и онъ также ѣдетъ въ Москву. Онъ общалъ даже подождать, пока жена кончитъ дѣла, чтобы вернуться вмѣстѣ. Это очень удобно. У нашего добраго знакомаго армянина было даже купѣ, и онъ очень любезно предложилъ помѣститься въ немъ моей супругѣ.

— Но послушайте, вѣдь не можетъ же молодая женщина спать въ одномъ купѣ съ армяниномъ!

— О! Онъ на это время, конечно, выйдетъ. Онъ человекъ воспитанный.

И всѣ рѣшили послѣ этихъ разсказовъ:

— Совершеннѣйшій идиотъ!

Свѣтъ полонъ злыхъ людей.

Кто-то прислалъ Василию Петровичу анонимное письмо, въ которомъ „открывалъ ему глаза“.

По нѣкоторымъ признакамъ Василій Петровичъ догадался, что это кто-нибудь изъ сослуживцевъ.

Однажды послѣ занятій онъ обратился ко всѣмъ намъ. Онъ былъ блѣденъ, его губы дрожали, голосъ прерывался.

— Господа! Я не знаю, да и не хочу знать, кто авторъ этого гнуснаго письма. Но, кромѣ васъ, никого никогда не бывало въ моемъ домѣ. Тутъ есть такія подробности, которыя могъ знать только одинъ изъ васъ. Этотъ...

Онъ, вѣроятно, хотѣлъ сказать какое-нибудь рѣзкое слово, но природная мягкость побѣдила: онъ удержался.

— Этотъ господинъ дѣлаетъ гнусные намеки относительно моей семьи! Относительно всего, что есть для меня самаго дорогаго, самаго святого... слышите? Святого!

Его голосъ зазвучалъ даже грозно. Василій Петровичъ потрясалъ въ воздухѣ этимъ лоскуткомъ бумаги.

— Что дѣлать? Есть люди, которые во всемъ видятъ только одну грязь. Это потому, что они сами грязь. Пусть же знаетъ авторъ этого письма, этого гнуснаго пасквиля, что я его презираю, что ему не удалось пробудить во мнѣ гнусныхъ подозрѣній, что я плюю на него, какъ плюютъ на пасквилянтовъ. Вотъ!

Василій Петровичъ разорвалъ въ мелкіе клочки письмо и выбѣжалъ прежде, чѣмъ мы, пораженные такой рѣзкой, несвойственной ему выходкой, успѣли опомниться.

Я нашелъ его въ передней. Онъ сидѣлъ въ уголкѣ за шпинелями и всхлипывалъ. По его блѣднымъ щекамъ текли слезы.

— Какіе есть скверные люди на свѣтѣ...

Больше онъ никогда не приглашалъ насъ къ себѣ.

Такъ жилъ этотъ совершеннѣйшій идиотъ, работая, какъ волъ, потѣшая всю канцелярію и пользуясь безмятежнымъ счастьемъ, ни о чемъ не догадываясь.

Онъ умеръ такъ же тихо, какъ жилъ.

Онъ былъ очень истощенъ усиленными занятіями, простудился и недолго боролся со смертью.

Онъ умеръ, благословляя чужихъ дѣтей, благодаря жену за счастье, которымъ она дарила... другого, пожимая руку предателя.

Онъ умеръ, какъ жилъ, какъ дай Богъ жить и умереть каждому: окруженный „своими“ дѣтьми, „вѣрной“ женой, „преданнымъ“ другомъ.

Умирая, онъ смотрѣлъ на нихъ взглядомъ, полнымъ любви и благодарности, и шепталъ имъ:

— Благодаря вамъ, я былъ счастливъ!

И онъ, несомнѣнно, былъ счастливъ.

Тихое облачко грусти пробѣжало по лицамъ.

— Счастье, это—не знать!—сказалъ одинъ.

— Счастье, это—не догадываться!—сказалъ другой.

— Счастье, это—вѣрить!—сказалъ Петръ Ивановичъ, наклонный къ возвышенному образу мыслей.

А Ома Омичъ, болѣе наклонный къ скептицизму, замѣтилъ:

— Счастье, это—кушанье для дураковъ! Умнымъ людямъ рѣдко приходится отвѣдать этого блюда.



Послѣдній романъ.

Послѣдній романъ.

Я сидѣлъ въ вагонѣ и читалъ какой-то романъ.

Молодой человѣкъ, очень милый и очень приличный съ виду, сидѣвшій противъ меня, вдругъ воскликнулъ:

— Господи! Кажется, умный человѣкъ, а читаетъ такія глупости!

Я взглянулъ на него съ изумленіемъ.

Онъ улыбнулся и качнулъ головой.

— Я говорю о васъ! Вѣдь вы, кажется, читаете романъ?

— Романъ.

— Вы мнѣ кажетесь съ виду умнымъ человѣкомъ.

— Очень вамъ благодаренъ!

— А читаете нелѣпости! Впрочемъ, виновать. Можетъ-быть, это историческій романъ?

— Самый что ни на есть современный.

— Въ такомъ случаѣ я правъ. Въ прошломъ—да, могли быть романы. Но въ настоящее время...

Я улыбнулся.

— Вы разочарованы въ любви?

— Въ любви? Нѣтъ! Любовь будетъ существовать всегда, какъ голодъ, какъ жажда. И бракъ тоже,— какъ обѣдъ, какъ ужинъ, какъ завтракъ. Но романъ!

„Современный романъ“! Это вадоръ, это нелѣпость, это выдумка! Гг. писатели выдумываютъ изъ своей головы, потому что въ жизни больше романовъ не существуетъ. Послѣдній разыгрался въ концѣ прошлаго столѣтія.

— Слава Богу, что это случилось еще такъ недавно!

— Вы шутите, а я говорю серьезно. Романъ больше немислимъ въ нашей жизни. Бракъ, интрижка,—все, что угодно, только не романъ!

— Однако, вы приговариваете къ голодной смерти нашего брата, литератора.

— А вы литераторъ?

Онъ словно обрадовался.

Потомъ подумалъ нѣсколько минутъ и сказалъ:

— Я не знаю, какой вы литераторъ, я не спрашиваю даже вашего имени. Я очень радъ, что встрѣтился съ литераторомъ. Я смогу исполнить свой долгъ.

Онъ открылъ чемоданъ, порылся и досталъ пачку какихъ-то писемъ.

— Вотъ! Я далъ себѣ клятву передать это какому-нибудь литератору. Возьмите и на досугъ прочтите. Если вы найдете это неинтереснымъ, передайте кому-нибудь изъ пріятелей или бросьте въ печку. Только, предупреждаю, это будетъ не особенно умно—сжечь въ печкѣ. У этого романа, вѣрнѣе, у этой попытки на романъ, есть одно достоинство: это не выдумка, а правда.

Поѣздъ подходилъ къ станціи.

— Берите!—повторилъ молодой человѣкъ.—Это, конечно, не настоящія письма, а копіи. Я нарочно снялъ копіи. Именъ нѣтъ, да они и не интересны. Портретъ

одного изъ авторовъ—передъ вами. Берите, мнѣ сходить на этой станціи.

Поѣздъ остановился.

Чудакъ положилъ около меня свои листки, схватилъ чемоданъ, крикнулъ мнѣ „прощайте“ и выскочилъ изъ вагона.

Станція была маленькая, остановка полминуты. И когда поѣздъ тронулся, у окна снова показался мой молодой человѣкъ, онъ бѣжалъ за поѣздомъ и кричалъ мнѣ:

— Не бросайте въ печку! Не бросайте въ печку! Если можно, напечатайте.

— Дайте мнѣ хоть условный адресъ, чтобы послать, если будетъ напечатано.

Онъ махнулъ рукой.

— Не надо. Я работаю для общественнаго блага. Прощайте!

„Дорогой другъ!

Я только что разстался съ вами, говорилъ, держалъ вашу руку въ своей, — и пишу!

Мальчишество! Нѣтъ!

На бумагѣ я чувствую себя свободнѣе, я не связанъ, я не стѣсненъ.

Объясненіе въ любви въ наше время можетъ быть только между двумя людьми, которые никогда ничего не читали, ни разу не были въ театрѣ. Они могутъ говорить именно то, что чувствуютъ, выражаться именно такъ, какъ они чувствуютъ.

Мы, остальные, мы отравлены литературой, отравлены театромъ.

Мы боимся сильного слова, громкой интонаціи, боимся жеста.

— Не вышло бы книжно.

— Не вышло бы театрально.

Какъ, напимѣръ, сказать:

— Я васъ обожаю.

„Обожаю“, это—книжно. Это изъ романа!

Но какъ же сказать иначе, если я васъ дѣйствительно обожаю? Не люблю, а именно обожаю, обожаю, обожаю. Если вы для меня божество, на которое мечтами молится моя душа.

Упасть на колѣни, когда все ваше существо требуетъ этого?

— Это театрально!

Мы связаны по рукамъ и ногамъ книгой и театромъ.

Мы объясняемся въ любви, спеленатые, боясь сдѣлать жестъ. Мы говоримъ плоскія, банальныя, сѣрыя, безцвѣтныя, будничныя слова тогда, когда хотѣли бы говорить слова горячія, какъ пламень, какъ лава.

На бумагѣ этого нѣтъ.

Здѣсь я свободенъ.

Я не долженъ слѣдить за своими интонаціями. Я могу смѣло говорить то, чего не рѣшился бы сказать вслухъ, потому что это „громко“...

Я могу сказать, что я обожаю, обожаю васъ, что я молюсь на васъ, что вы мое божество, и единственное мое божество!“

„Мой милый другъ!

Я очень рада, что вы написали мнѣ письмо, и спѣшу отвѣтить.

Это счастливая мысль. Это превосходно. Въ письмахъ душа бесѣдуетъ съ душой. Нѣтъ этихъ пожатій рукъ, взглядовъ, физической близости, которая заставляетъ кровь приливать къ мозгу и пьянить разсудокъ.

Я хотѣла бы, чтобы вы любили во мнѣ мою душу! Душу! Душу, а не тѣло.

Тѣло! О Боже! Не будемъ лгать, скрывать и излишне скромничать. Мнѣ многіе намекали, говорили о своей любви. О любви къ моему тѣлу! И вы избранникъ моего сердца; я люблю васъ, полюбила вашу душу, потому что, мнѣ кажется, вы любите мою душу.

Вѣдь я не ошиблась? Да?

Василій Петровичъ,—вы его встрѣчали у насъ,—„тоже“ меня любить. Посмотрите, какъ онъ старается сѣсть ко мнѣ поближе. Онъ радъ, если я что-нибудь уроню, чтобы поднять и дотронуться до моей руки, до моего тѣла. Онъ ищетъ всякаго случая, чтобы наши руки встрѣтились, ищетъ коснуться меня рукой. Какая мерзость!

Вѣдь счастье, грубое счастье любви состоитъ изъ трехъ моментовъ. Желаніе, обладаніе и пресыщеніе. Изъ нихъ желаніе—самое лучшее.

И когда я думаю, что я доставляю этому противному человѣку лучшее, что есть въ любви,—желаніе, меня охватываетъ отчаяніе.

Нѣтъ, мой другъ, я хотѣла бы доставлять вамъ не это счастье, которое я могу доставить всякому, кто сидитъ около меня. Нѣтъ! Я хочу, чтобы въ нашей любви не было совсѣмъ этого элемента,—элемента чувственности.

Пусть это будетъ дѣйствительно союзъ двухъ душъ, возвышенныхъ, восторженныхъ, любящихъ и родственныхъ.

О, мы научимъ людей любить. Мы зажжемъ на землѣ этотъ священный огонь, который погашень чувственностью.

Пусть въ нашей любви не будетъ ничего, кромѣ мысли, несущейся къ любимому существу, кромѣ мечты, чистой и цѣломудренной, несущейся къ его душѣ.

Пусть чувственность не примѣшивается къ нашей истинной любви. Вѣдь одна капля воды портитъ цѣлую бутылку лучшаго вина.

Ни рукопожатій, ни взгляда, ни поцѣлуя,—мнѣ потому-то и дорога наша любовь, что въ ней не было этого чувственного опьяняющаго удовольствія.

Въ письмахъ, которыми мы будемъ обмѣниваться, пусть душа говорить съ душой.

Душу во мнѣ любите, мой дорогой, мой любимый, любимый, любимый другъ! Душу, а не мое тѣло!“

„Дорогой горячо и свято любимый другъ!

Я былъ бы неправъ, я солгалъ бы, если бы сказалъ:

— Я люблю только вашу душу и не люблю вашего тѣла.

Нѣтъ. Это не такъ.

Что я люблю?

Я люблю гармонію, дивную гармонію души и тѣла. Эта дивная гармонія прекрасной души и прекраснаго тѣла, это—вы.

Послушайте. Развѣ можно отдѣльно любить мысль, отдѣльное слово? Слово безъ мысли и мысль безъ слова!

Что можетъ быть лучше, какъ прекрасная мысль, выраженная въ прекрасной формѣ.

Я наслаждаюсь вами, какъ наслаждаются стихами, прекрасными по формѣ, глубокими по мысли.

Вотъ почему я люблю въ васъ и душу и ваше тѣло.

Вы говорите о малѣйшей физической близости, какъ о чемъ-то низменномъ, недостойномъ такого высокаго чувства, какъ любовь.

Возьмемъ самую чистую, самую возвышенную любовь, какая только существуетъ на землѣ, какую только знаетъ міръ,—любовь матери.

Скажите, если бы матери предложили:

— Ты будешь видѣть каждый день твоего ребенка. Онъ всегда будетъ при тебѣ. Ты будешь видѣть, какъ онъ одѣтъ, умытъ, причесанъ, разговаривать съ нимъ, но всегда въ двухъ шагахъ разстоянія отъ него.

Ты не будешь имѣть права никогда до него дотронуться ни рукой ни губами.

Развѣ она не сочла бы себя самой несчастной изъ матерей?

Развѣ это было бы не величайшей изъ пытокъ?

Откуда же эта потребность, даже въ материнской любви къ физической ласкѣ, къ поцѣлую,—это желаніе взять ребенка на руки, чувствовать его тяжесть на своихъ рукахъ, прижимать его тѣло къ своему?

Нѣтъ, мой другъ, не нападайте такъ на бѣдное тѣло и не предавайте проклятію его желаніе, его мечты.

Въ особенности не дѣлайте этого вы,—вы поэма, облеченная въ прекраснѣйшую изъ формъ. Не проклинайте вашего прекраснаго тѣла“.

„Мой другъ!

Проклинять свое бѣдное тѣло! Какъ я далека отъ этого. Увы!—Но какъ я далека отъ этого!

Я должна исповѣдываться передъ вами.

Вчера, ложась спать, я взглянула на себя въ трюмо. И мнѣ, клянусь, чѣмъ хотите, что это въ первый разъ въ моей жизни, пришла въ голову мысль:

„Я красива“.

И я подумала:

„Эта красота для него“.

И, вся горя, полная стыда и счастья, я бросилась въ постель.

А вы говорите:

— Не проклиняйте своего,—я ужъ не помню тамъ, какъ вы его называли,—тѣла.

Какъ видите, я далека отъ проклятій.

Я совсѣмъ, какъ видите, не проклинаю.

Но мнѣ страшно это! Мнѣ страшно!

Мнѣ страшно и стыдно“.

„Это прекрасно, это прекрасно, моя милая, моя дорогая, моя обожаемая, мое счастье. Это — гимнъ любви, любви, который поетъ, вся ваша природа, ваша душа, ваше тѣло, все ваше существо“.

„Другъ мой!

То, что произошло сейчасъ, ужасно.

Когда вы ушли, поцѣловавъ меня въ передней, я не помню, какъ дошла до своей комнаты.

Въ эту минуту я готова была бѣжать за вами, бѣжать совсѣмъ изъ дома, бѣжать куда угодно, на что угодно.

О, пощадите меня, пожалуйте меня! Что вы дѣлаете со мной?!

Я прошу васъ вовсе не о сохраненіи моего домашнего очага, котораго ужъ нѣтъ, потому что я не люблю своего мужа. Я уважаю его, я цѣню его, я полна дружбы къ нему. Но изъ этого не вылѣпишь счастливаго брака! Дружба, это — уголья любви. И если на очагѣ остывшіе уголья и зола, — огня не разведешь.

Нѣтъ, не объ этомъ я говорю. Не изъ-за этого прошу, молю.

Но пощадите мою любовь, нашу любовь, возвышенную, чистую, прекрасную, небесную.

Что теперь въ ней? Во что превратилась она?

Я боюсь, что въ ней больше страсти, чѣмъ любви. Я боюсь, что это одна страсть.

Я дрожу при этой мысли. Я полна ужаса.

Это опьянѣніе, а не восторгъ.

И какъ ни занять мой мужъ, но и онъ, кажется, замѣтилъ. Нельзя не замѣтить, когда въ домѣ ходитъ пьяная отъ любви женщина.

Онъ ревнуетъ. Онъ ничего не говоритъ прямо, это—правда. Но онъ недоволенъ всѣмъ, онъ придирается ко всему, онъ раздражителенъ, онъ золъ. Я чувствую, онъ мучится ревностью

Пожалѣемъ хоть его“.

„Но пожалуйте и меня, мой дорогой другъ!

Пожалуйте и меня.

Онъ ревнуетъ, а я не ревную?

Между нами одна разница.

Онъ ревнуетъ безъ всякихъ основаній.

Я ревную, быть-можетъ, имѣя основаніе.

Быть-можетъ, я долженъ ревновать!

О, эта мысль сводить меня съ ума.

Мысль о васъ и о немъ Нѣтъ, нѣтъ, это ужасно!

И знаете, какъ это странно. Думая о васъ и о немъ, я, казалось бы, долженъ бы—ну, хоть въ эту минуту!—ненавидѣть васъ за то, что вы его собственность.

А между тѣмъ никогда я не люблю васъ такъ сильно, такъ горячо, такъ безумно, такъ страстно, какъ въ тѣ минуты, когда я думаю о васъ и о немъ.

Пожалѣйте же меня. Пожалѣйте, я схожу съ ума“.

„Другъ мой!

Это страшно, — то, что вы пишете.

Это повергаетъ меня въ ужасъ. Да, да! Въ настоящій ужасъ.

Мнѣ самой приходила въ голову эта страшная мысль.

Я наблюдала это на моемъ мужѣ. Онъ никогда не бываетъ такъ влюбленъ въ меня, какъ именно тогда, когда онъ меня — всегда безпричинно, конечно, — къ кому-нибудь ревнуетъ.

Что же такое ревность?

Керосинъ, который плескаютъ на потухающіе уголья, чтобъ они вспыхнули сильнымъ огнемъ?

И не потому ли мы, женщины, наученныя вѣковой исторіей рабства, кокетничаемъ, стараемся нравиться, одѣваемся и раздѣваемся на балы, чтобъ заставить нашихъ мужей ревновать?

Чтобъ ревностью воспламенить гаснущую страсть?

Чтобы разжечь уголья, потухающіе на очагѣ?

Какъ это отвратительно, гнусно, мерзко!

Это похоже на то, какъ ребенка заставляютъ принять ложку касторки:

— А то собачкѣ отдамъ!

Мы спекулируемъ на самыя скверныя чувства, на самыя гнусныя вещи, на самыя низменныя побужденія.

Какую пропасть открываетъ подъ моими ногами ваше письмо.

Мнѣ страшно. Эта страсть, — простите меня, — эта животная страсть, принявшая такіе размѣры, пугаетъ меня, ужасаетъ.

А мы-то мечтали о свѣтлой, какъ утро, ясной, какъ небо, чистой, восторженной любви. Несчастные мы! Несчастные мы!“

„А! Васъ испугало чувство, которое приняло слишкомъ большіе размѣры.

Вы похожи на поджигателя, который поджогъ только застрахованное имущество, — и въ ужасѣ, что пылаетъ весь домъ, а въ немъ десятки людей.

Вы испугались вѣтра, который превратился въ ураганъ.

Вамъ хотѣлось бы, чтобы ураганъ только обвѣвалъ ваше лицо и игралъ лентами на вашей шляпкѣ? Да!

Такъ нѣтъ же!

Безнаказанно нельзя лицемѣрить съ чортомъ.

Эти улыбки, пожатія руки, взгляды, письма, поцѣлун тайкомъ и налету, — все это пробудило во мнѣ страсть. Не страсть къ вамъ, а страсть, вообще страсть!

Это понятно, это естественно, это законно, это нормально!

Отворачивайтесь съ презрѣніемъ, сколько вамъ будетъ угодно, вы, презирающая тѣло!

Презирайте его, но не надо въ такомъ случаѣ его дразнить.

Вчера, когда я вышелъ отъ васъ, съ кружащейся, какъ всегда, головой, — я не могъ итти домой. Я не могъ бы спать. Я пошелъ бродить по улицамъ.

Было поздно, и все было заперто.

Только подъѣздъ кафе-шантана, мимо котораго я проходилъ, былъ еще освѣщенъ.

Надо было куда-нибудь дѣваться, — я зашелъ туда.

Тамъ кончалось послѣднее отдѣленіе.

Какая-то особа, вся въ трико, танцевала серпантинъ.

Такъ, ничего особеннаго! Въ другое время я сказалъ бы:

— Да, ничего!

Вѣрнѣе, не обратилъ бы никакого вниманія.

Но теперь каждая линія ея тѣла показалась мнѣ прекрасной, превосходной, обворожительной. Каждое движеніе—вызывающимъ, чуднымъ.

Такъ это дѣлается просто.

Посылаютъ записку карандашомъ, — даже не на визитной карточкѣ, — съ человѣкомъ:

„Не будете ли добры поужинать со мной сегодня?“

А черезъ четверть часа лакей отворяетъ дверь вашей логи и почтительно докладываетъ:

— Онъ идетъ-съ!

И она входитъ:

— Bonsoir, mon cousin!

Я ужиналъ съ нею.

Я не хочу отъ васъ скрывать, я не хочу лгать, я не хочу притворяться, какъ, можетъ-быть,—простите!—притворяетесь вы, замужняя дама, имѣющая мужа, сгорающаго отъ ревности!

Можете разорвать это письмо, можете разорвать всѣ мои письма.

Это мерзко, — но это такъ“.

„Откровенность за откровенность, дорогой другъ.

Я отвѣчаю на **ваше**, дѣйствительно, возмутительное письмо, быть-можетъ потому, что я могу написать вамъ еще возмутительнѣе.

Вѣдь человѣкъ, въ концѣ концовъ, это — какъ скаковая лошадь. Точно надо перегнать другого. Въ чемъ бы то ни было!

И мнѣ не прошло безнаказанно это „лицемѣріе передъ чортомъ“, какъ вамъ угодно называть.

Въ то самое время, какъ вы вчера, уйдя отъ насъ, входили въ кафе-шантанъ, гдѣ ваша дама звала васъ „mon cousin“, я входила въ кабинетъ моего мужа, который зоветъ меня „курочкой“.

Тоже преглуно? И препошло? И препротивно? Какъ „cousin“!

Но вчера это мнѣ казалось музыкой:

— Курочка!

Я не знаю, какая сила тянула меня къ нему. Онъ сидѣлъ за письменнымъ столомъ, я сѣла на ручку его кресла, такъ просто, безо всякой мысли.

— Я тебѣ не мѣшаю?

Но когда онъ въ отвѣтъ обнялъ меня за талію,—голова у меня помутилась, все пошло кругомъ въ глазахъ.

И я вспомнила о васъ, мой бѣдный другъ, только черезъ много, много-часовъ.

Если бъ вы подумали, что я вамъ только мщу за вашъ возмутительный рассказъ, — вы были бы неправы. Клянусь вамъ, что это истинная правда.

Ваша...“

„Милостивая Государыня!

Это мое послѣднее письмо. И этимъ кончается все.

Вы думаете, во мнѣ говоритъ ревность? Мной руководитъ ненависть?

Нѣтъ. Глубокое отвращеніе.

Къ вамъ? Нисколько!

Глубочайшее отвращеніе къ тому, чѣмъ мы занимались.

Перечитайте мои письма, перечитайте ваши, которыхъ я вамъ возвращаю.

Это была любовь? Это было взаимное занятіе психологіей.

Мы разбирали психологію другъ друга, копались въ собственной и преподносили другъ другу:

— Вотъ какую психологическую штуку я выкопалъ.

— А я вотъ какую.

Мы слишкомъ заѣдены психологіей, чтобы свободно отдаваться чувствомъ.

Мы занимаемся только тѣмъ, что анализируемъ:

— Что я чувствую въ эту минуту!

Когда два человѣка нашего времени влюбляются другъ въ друга, они начинаютъ копать другъ у друга въ душѣ.

— Я думаю, что думаешь...

— О, нѣтъ! Не думай, что ты думаешь, будто я думаю...

Знаете, что это напоминаетъ?

Въ деревняхъ баба приглашаетъ пріятельницу:

— Приходи! Пойщемся!

И онѣ проводятъ время въ томъ, что ищутъ другъ у друга въ головѣ насѣкомыхъ.

Сравненіе противно, но и это взаимное копаніе въ душѣ тоже противно.

Слуга покорный!

Прошу васъ вернуть мои письма: они мнѣ очень нужны. Я возвращаю вамъ ваши, снявши съ нихъ копіи.

Знаете зачѣмъ?

Я отдамъ ихъ какому-нибудь литератору.

Вотъ человѣческіе документы. Вотъ послѣдній романъ... Вотъ, вотъ послѣдняя попытка разыграть романъ въ наше время.

Примите увѣреніе Въ совершенномъ почтеніи и полнѣйшей преданности“.

„Милостивый Государь!

Это низко, это гадко, это гнусно, это безнравственно, наконецъ, то, что вы хотите сдѣлать.

Вотъ ваши письма“.

„Вы находите, милостивая государыня?

Ничуть, ни капли. Это благородно: это честно, это человѣчно, это необходимо.

На ярмаркѣ вы выходите изъ балагана, на которомъ ярко расписанная вывѣска, — и только.

Внутри нечего смотреть.

Вы предупреждаете других:

— Господа, не стоит ходить! Это обманъ. Тамъ ничего нѣтъ!

Да, да, я отдамъ копіи съ этихъ писемъ какому-нибудь литератору съ просьбой, съ мольбой напечатать.

Пусть знаютъ, что романъ, это—въ нашъ вѣкъ измышленіе, ложь, выдумка писака - ремесленниковъ. Что въ нашъ вѣкъ романа быть не можетъ, что онъ немислимъ.

Зачѣмъ я дѣлаю это?

Зачѣмъ огораживаютъ на ночь яму, вырытую на дорогѣ, и вѣшаютъ фонарь?

Чтобъ кто-нибудь не упалъ!

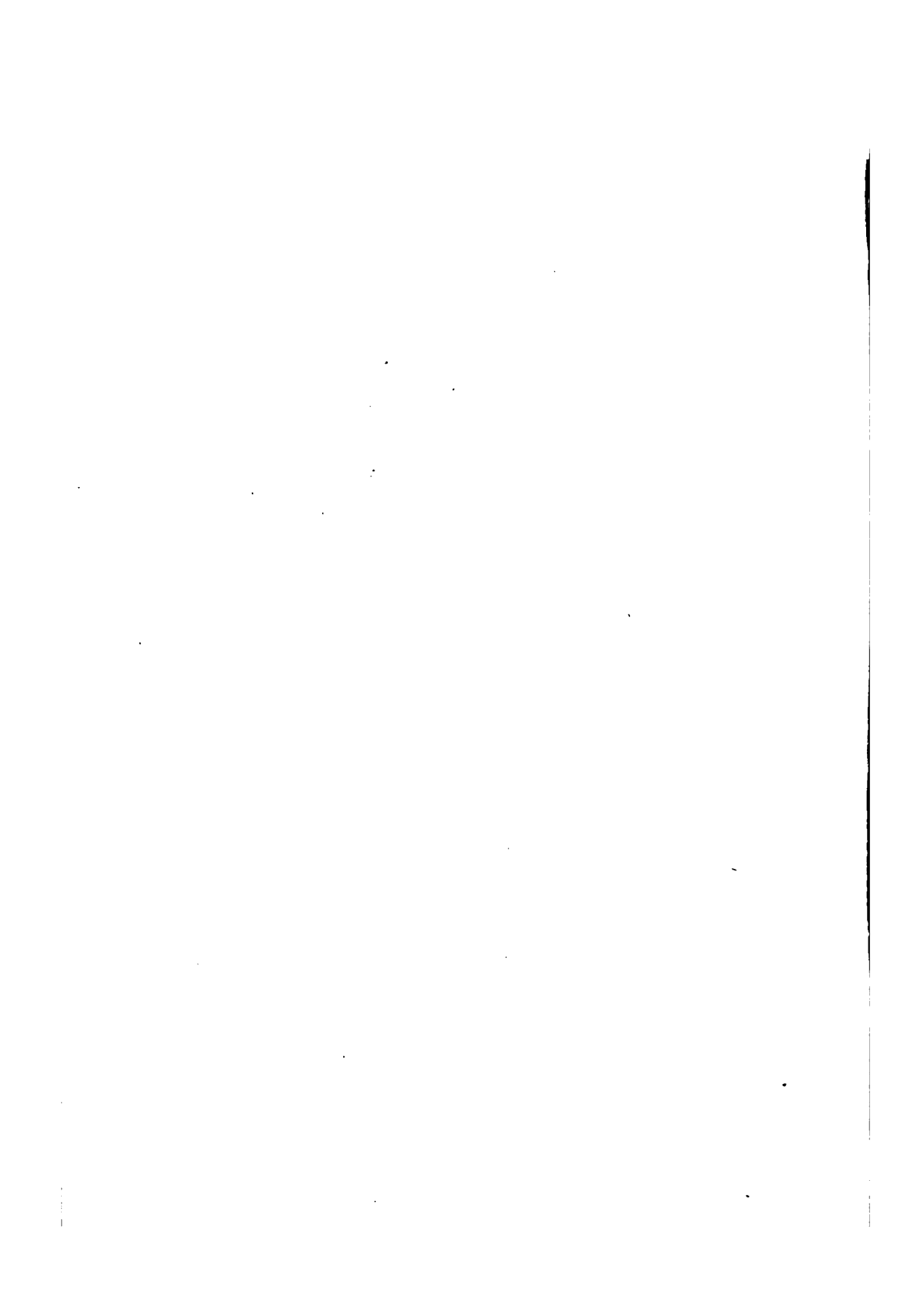
Я не хочу, чтобы люди разбивали себѣ голову, думая, что въ наше время мыслимъ романъ.

Только и всего.

Р. S. Конечно, письма будутъ напечатаны безъ имени.



Первый поцелуй.



Первый поцѣлуй.

Сударыня!

Вамъ угодно, чтобъ я написалъ вамъ легенду о происхожденіи поцѣлуя.

Вы знаете, что повиноваться вашимъ очаровательнымъ капризамъ—лучшее изъ моихъ удовольствій. Требуйте, пока въ нашемъ маленькомъ романѣ не получу право требовать я. Требуйте всего, что вамъ будетъ угодно. Итакъ...

На этотъ разъ я съ тѣмъ большимъ удовольствіемъ исполню ваше маленькое требованіе, что, будучи въ Индіи, я слышалъ тамъ легенду о происхожденіи поцѣлуя.

Да, поцѣлуй, какъ и многое хорошее, родился въ Индіи. И первыми устами, которыхъ коснулся поцѣлуй, были уста красавицы Лотосъ.

Она была самою красивою изъ дѣвушекъ ея города, славившагося красотой.

Жрецы и воины, раджи и пѣвцы, юноши и зрѣлые мужи—всѣ были у ея ногъ.

И, кажется, только одинъ идолъ во всемъ Бомбеѣ не потерялъ головы отъ красоты маленькой Лотосъ.

И вотъ что однажды записала Лотосъ въ своемъ дневникѣ.

Барышни Индіи тоже вели свои дневники.

Лотось записывала свои побѣды и сны на листѣ того царственного цвѣтка, который мы называемъ „Victoria regia“.

Это самый пышный и благоуханный изъ цвѣтовъ, но бойтесь того момента, когда онъ расцвѣтаетъ: первое дыханіе вѣетъ ядомъ.

Вотъ что писала Лотось на благоухающихъ ядовитыхъ лепесткахъ:

„Мнѣ снился страшный сонъ.

„Тѣнистый старый садъ. Мохомъ обросшая скамья. И я, безъ мыслей, безъ желаній, пришедшая укрыться сюда отъ палящихъ лучей солнца, отъ страстныхъ рѣчей моихъ поклонниковъ, отдохнуть отъ пѣсенъ, вздоховъ, возгласовъ восторга.

„Солнце заходило.

„Кто-то показался на поворотѣ дороги.

„Я въ изумленіи поднялась съ мѣста. Это былъ идолъ нашего храма.

„О, онъ не походилъ на тѣхъ, отъ кого я убѣжала сюда.

„Онъ не любилъ, онъ только позволялъ себя любить.

„Онъ никогда не сдѣлалъ бы перваго шага.

„А между тѣмъ я ему нравилась. Немножко. По крайней мѣрѣ, мнѣ такъ казалось.

„Нравится идолу? Но вѣдь это жъ было во снѣ!

„И это мнѣ льстило.

„Потому что онъ былъ идиоломъ, оракуломъ, богомъ.

„Его приговоры боялись.

„Въ его предсказанія вѣрили всѣ.

„И во снѣ мнѣ казалось, что я употребляла всѣ усилія, чтобы разжечь его страсть.

„Такъ и теперь я употребила къ этому всё средства.

„Я завела съ нимъ разговоръ, немножко смѣлый, немного насмѣшливый, немного вызывающій.

„Мы стояли у дерева.

„Разстояніе между нами все уменьшалось.

„И когда я уже чувствовала его дыханіе, читала желаніе въ его глазахъ...

„Когда на устахъ его уже не играла улыбка... Когда, вся облитая заходящимъ солнцемъ, я откинула голову и почти коснулась его плеча...

„Онъ вдругъ покачалъ головой, улыбнулся и, пожимая мнѣ руку, сказалъ:

„— Я спасаюсь! Ужъ очень ты хороша сегодня, маленькая Лотось.

„Я прислонилась къ дереву.

„Да, я довольна, довольна потому, что онъ не потерялъ интереса въ моихъ глазахъ.

„Потому, что онъ все еще будетъ раздражать мое самолюбіе и дѣйствовать на мое воображеніе“.

Странно! Проснувшись, Лотось ни о чемъ не могла думать, кромѣ идола. Это было такъ же похоже на любовь, какъ и на любопытство. Впрочемъ, кто же пойметъ, гдѣ у женщины кончается одно и начинается другое. Кто сумѣетъ отвѣтить, что толкаетъ дѣвушку въ первый разъ въ объятія: любовь или любопытство?

Трепещущая Лотось взошла въ сумрачный храмъ, гдѣ стоялъ идолъ, холодный, безстрастный, улыбающійся тою вѣчною загадочною улыбкой, которою улыбаются индійскіе боги. Эта улыбка похожа на ту вѣчную, широкую и злобную улыбку, которою

скалить свои зубы черепъ,— улыбка смерти надъ жизнью.

Не сознавая, что она дѣлаетъ, Лотось, взобралась на пьедесталъ и стояла теперь къ идолу близко, какъ во снѣ. Ее тянуло къ этому идолу, холодному, безстрастному. Какъ вдохнуть въ него жизнь?

Лотось ближе и ближе приближала свое лицо къ лицу идола и чувствовала, какъ камень дѣлается теплѣе отъ ея дыханія.

Ея губы почти касались губъ идола. Почти... И вдругъ она почувствовала, что губы идола коснулись ея усть.

Это не она, это идолъ сдѣлалъ движеніе.

Съ легкимъ крикомъ отшатнулась она прочь...

Глаза идола горѣли. Яркія краски сбѣжали, и его лицо было теперь блѣдно. Идолъ больше не улыбался.

Въ тишинѣ храма прозвучалъ стукъ меча и вѣнца, выпавшихъ изъ его рукъ, и руки идола протянулись чтобъ обнять Лотось.

Легкимъ, гибкимъ и быстрымъ движеніемъ Лотось выскользнула изъ его объятій и разсмѣялась звонкимъ, серебристымъ смѣхомъ.

— Теперь я знаю, что и ты такой же, какъ всѣ. Благодарю тебя, мрачный богъ. За одну минуту страсти и желанія ты далъ мнѣ средство сводить съ ума даже боговъ.

А идолъ стоялъ передъ ней, снова улыбаясь своей вѣчною улыбкой, смѣясь надъ всѣмъ и, быть-можетъ, теперь надъ собой.

Таковъ былъ первый поцѣлуй, раздавшійся въ мірѣ.

Какъ видите, сударыня, поцѣлуй предназначался для боговъ, а не для людей.

Для людей это слишкомъ сильное средство. И вотъ почему люди слишкомъ теряютъ голову отъ поцѣлуя.

Будемъ же благоразумны.

И будемъ довольствоваться въ нашемъ маленькомъ флиртѣ взглядомъ, пожатіемъ руки.

Поцѣлуй, это — нѣчто слишкомъ героическое для насъ.



Съдые волосы.

СѢДЫЕ ВОЛОСЫ.

— Посмотри, у тебя ужъ сѣдые волосы! — сказала она, проведя рукой по моей головѣ.

— Неправда!

Два-три серебристыхъ волоса на вискахъ... При моей жизни это такъ понятно.

— Но у меня нѣтъ еще сѣдыхъ волосъ.

Я никогда не занимался своею наружностью, но это замѣчаніе почему-то привело меня въ дурное настроеніе.

Я скоро попрощался и поѣхалъ домой.

Это неправда. Это ложь. У меня нѣтъ еще сѣдыхъ волосъ. Откуда она взяла, будто у меня начали сѣдѣть волосы?

И вотъ я сижу передъ зеркаломъ...

Она права.

Въ густыхъ темно-русыхъ волосахъ то тамъ, то здѣсь тянутся серебристыя нити.

Заглядывая въ зеркало на минутку и мимоходомъ, я не замѣчалъ ихъ.

Но они есть. Эти два-три сѣдыхъ волосочка, сверкнувшихъ на вискахъ, разрослись въ сотни, рассыпались по всей головѣ. Они бѣлѣютъ тамъ и здѣсь. Они, какъ враги, съ боя берутъ мою бѣдную голову, съ каждымъ

днемъ они становятся все сильнѣе и сильнѣе. Ихъ все больше и больше. Сдается моя бѣдная голова.

Какъ? Неужели?

Неужели уже: „Здравствуй, одинокая старость, догорай, бесполезная жизнь?“

Неужели такъ скоро, что я не успѣлъ оглянуться?

Неужели промелькнули весна и лѣто моей жизни, наступаетъ пасмурная, унылая осень?

Такъ молодой кутила, прокутивъ съ вечера послѣднiе гроши полученнаго наслѣдства, съ тоскою думаетъ на утро.

— О, если бы вернуть теперь назадъ хоть тѣ триста рублей, которые я бросилъ вчера подъ ноги плясавшей цыганки!

Куда, на что я истратилъ, разбросалъ, прокутилъ свою жизнь?

Я жегъ ее съ обоихъ концовъ и, боясь, чтобъ хоть на секунду она не превратилась въ будничную, сѣренькую и безцвѣтную, лихорадочно ловилъ моментъ за моментомъ.

— Онъ много взялъ отъ жизни! — такъ скажутъ про меня всѣ, и только я одинъ спрошу:

— Взялъ ли хоть что-нибудь?

Любилъ ли я? Любили ли меня?

О, длинная, пестрая, красивая, какъ гирлянда цвѣтовъ, вереница милыхъ, веселыхъ подругъ, которыя помогали мнѣ мчаться впередъ, отъ одной къ другой, не замѣчая, что также быстро мчится и время!

Глядя на эти сѣдые волосы, я съ грустною улыбкою могу спѣть изъ „Синей Бороды“:

„Вотъ памятникъ женъ милыхъ и прелестныхъ,
Которыхъ я такъ пламенно любилъ“.

Любилъ ли я?

Я увлекался, сходилъ съ ума отъ горя и отъ счастья, имѣлъ успѣхъ, терпѣлъ пораженія. Но даже въ тѣ минуты, когда я стоялъ у вашихъ ногъ и молилъ о поцѣлуѣ, увлеченіе не проникало въ мое сердце. Въ сердцѣ было такъ же холодно, скучно и пусто.

О, если бъ хоть одна изъ васъ въ тѣ минуты, когда я сгоралъ, дрожалъ отъ притворной, напускной, преувеличенной страсти, вздумала вслушаться въ бѣеніе моего сердца! Оно билось ровно и мѣрно, какъ маятникъ, спокойно и безстрастно отбивая однообразный тактъ.

Мои первыя „молодыя страданія сердца“ холодомъ пахнули на мою душу, я тогда же почувствовалъ этотъ холодъ, какъ чувствую его и теперь, и сказалъ себѣ:

— Все пустяки. Жизнь коротка. Будемъ жить.

Я не вѣрилъ въ любовь и не хотѣлъ ничего знать, кромѣ увлеченій.

Они не захватывали меня глубоко, и, даже осыпая васъ поцѣлуями, я думалъ холодно и спокойно, съ тоскою и скукой: „Пройдетъ нѣсколько дней, ты перестанешь меня интересоваться, моя дорогая“... Брезгливо думалъ я о той „комедіи остывающей любви“, которую мнѣ придется разыгрывать еще нѣсколько лишнихъ дней, чтобъ не разорвать сразу, грубо, цинично нашихъ отношеній...

Опять тѣ же опаздыванія на свиданія, отговорки дѣлами, ссылки на головную боль, маленькія сцены ревности, выраженія негодованія и томительное, тоскливое ожиданіе обычной финальной „сцены отвращенія и презрѣнія“... Какая старая, надоевшая ко-

медя, и какъ скучно играть ее въ сотый, сто первый, сто второй, сто третій разъ!

Быть-можетъ, и у васъ въ тѣ же минуты проносились тѣ же самыя мысли,

Но если вы мнѣ вѣрили, тѣмъ хуже для васъ.

Любили ли меня?

Немножко увлекались,— да.

Я говорилъ имъ то же, что говорятъ и всѣ, о первой истинной любви, о первомъ проснувшемся чувствѣ, но говорилъ это нѣсколько красивѣе, чѣмъ другіе.

„Расписаны были кулисы пестро,
Я такъ декламировалъ страстно;
И мантіи блескъ, и на шляпѣ перо,
И чувство,— все было прекрасно“...

У нихъ немножко кружилась голова, и наши романы начинались съ конца.

Это были крошечные романы съ маленькими увлеченіями.

Я пересчиталъ много этихъ Поль-де-Коковскихъ романовъ, и ни разу не встрѣтилъ между ними ни одного, гдѣ бы говорила, жила, дѣйствовала любовь.

Ни разу... А вѣдь въ глубинѣ этого черстваго, за-холодѣвшаго сердца, подавленная, заглушенная, но не заглохшая, жила такая жажда любви,— истинной, настоящей любви...

О, если бъ хоть разъ во взглядѣ одной женщины я прочелъ хоть искорку этого чувства!.. Клянусь, что я раздулъ бы эту искорку въ огромный пожаръ и самъ бы сгорѣлъ въ этомъ пламени. Я отдалъ бы ей себя, свою жизнь...

И неужели ни разу?

Ни разу за всю жизнь?

А вдругъ это и была любовь?

Вдругъ я, всю жизнь, какъ благо, какъ счастья, искавшій любви, не узналъ ее въ толпѣ увлеченій, не узналъ тогда, когда она сама пришла ко мнѣ, на порогъ моего дома... А я, не узнавъ, закрылъ передъ нею дверь, передъ нею, дорогой и желанной, которую я такъ долго, такъ тщетно ждалъ...

Вчера я случайно встрѣтилъ ее въ паркѣ.

И если бъ она не улыбнулась, конечно бы, я не узналъ ея.

Кто могъ думать, что въ два года можетъ произойти такая перемѣна?

И кто бы узналъ въ этой пышной, роскошной женщинѣ, блестящей, нарядной, мою „маленькую Корделію“, бѣлокурую, худенькую дѣвочку, робѣвшую выходить въ трико пѣть вторья партіи въ опереткѣ.

Она, теперешняя она, была похожа на мою „маленькую Корделію“, какъ... какъ пара ея теперешнихъ воронныхъ рысаковъ на пару ея тогдашнихъ маленькихъ резиновыхъ калошъ.

Мы познакомились съ ней за кулисами, на первомъ же спектаклѣ ихъ труппы.

Она никогда не была въ столицѣ, такъ боялась, такъ трусила и такъ расцвѣла, услышавъ дружный, поощряющій аплодисментъ.

У нея была такая хорошенькая фигурка, она такъ робко и испуганно глядѣла своими голубыми глазенками на публику и вмѣстѣ съ тѣмъ такъ заодно и ухарски старалась спѣть первую выходную арію „Ореста“, что ей было грѣшно и не поаплодировать.

Этотъ маленькій успѣхъ „въ столицѣ“ передъ „столичной публикою“ вскружилъ ей голову.

Мы познакомились съ ней среди взвинчивающаго нервы шума и гама кулисъ, когда у нея кружилась голова отъ сыпавшихся на нее комплиментовъ, и она сразу приняла предложеніе ѣхать ужинать съ цѣлою компаніей опереточныхъ артистокъ и театральныхъ за-всегдатаевъ.

Она была какъ-то восторженно настроена.

— Я съ восторгомъ, съ восторгомъ поѣду... Мнѣ, знаете, хочется шума, движенія... Я такъ рада, такъ счастлива... Я такъ дрожала, такъ трусилась въ эти дни... И вдругъ такой успѣхъ... И гдѣ же? Въ столицѣ!!!

Она расхохоталась довольнымъ и счастливымъ смѣхомъ и убѣжала къ себѣ въ уборную поправиться къ слѣдующему акту.

Бѣдный ребенокъ!

Дорогой она мнѣ рассказывала, что до сихъ поръ жила сначала у мамы, которая была „комическою старухой“, а когда мама умерла, ѣздила два года съ опереточною труппою. Она была въ Θεодосіи, въ Евпаторіи, даже служила одинъ сезонъ въ Екатеринодарѣ.

— Но если бы вы знали, какъ я трусилась столицы. Вы только подумайте, вѣдь въ первый разъ!

И, сооротивъ прекомическую рожицу, она воскликнула изъ „Маленькаго Фауста“:

— „Я еще ничего, ничего не знаю“...

Она трещала безъ-умолку.

Москва поразила ее шумомъ, движеніемъ, оглушила, обезкуражила, сбила съ толку... „Здѣсь такъ, говорятъ, весело... Мама, когда еще была примадонной, была здѣсь... Какіе ужины ей задавали поклон-

ники!.. Если бъ вы знали, какіе ужины!.. А она всего разъ въ жизни пила шампанское на свадьбѣ у одного актера“...

Она хохотала надъ своею наивностью, надъ „своими“ Оедосіями, Евпаторіями, Екатеринодарами, приходила въ восторгъ отъ „столицы“ и совсѣмъ растерялась, когда мы вошли въ „Мавританію“.

— Да какъ же здѣсь хорошо!

Милый ребенокъ!

Ужинъ съ тостами, заздравными кликами, „товарищескими“ поцѣлуями, пожиманіемъ хорошенькихъ локотковъ, цѣлованіемъ ручекъ, — все это въ конецъ опьянило мою маленькую актрису.

Пріятели, потихоньку меня подталкивая, безпрестанно предлагали тосты за нее; она была въ восторгѣ чокалась, пьянѣла столько же отъ вина, сколько и отъ шума, хохотала, когда у нея цѣловали ручки, и болтала глупости.

Къ концу ужина она опьянѣла совсѣмъ и, садясь въ экипажъ, сказала:

— Держите крѣпче, а то я упаду...

Быстро летѣвшій рысакъ, свѣжій сумракъ разсвѣта, вѣтеръ, такъ и свиставшій около насъ—все это взвинчивало и безъ того взвинченные нервы.

Поддерживая, я прижималъ ее все сильнѣе и сильнѣе. Она хохотала и напѣвала изъ „Периколы“:

„Какой обѣдъ намъ подавали,

„Какимъ виномъ...“

Вѣтеръ такъ игралъ завитушками ея волосъ, ея крошечное розовое ухо было такъ близко отъ моихъ губъ.

— Но тсс... — отдернулась она, — объ этомъ ни слова, ни слова... Молчи!.. молчи!..

И она приложила мнѣ палецъ къ губамъ. Я покрывалъ поцѣлуями ея руки, губами стараясь сдвинуть перчатки... Она только шептала:

— Перестаньте!..

— Да вѣдь ты пойми, моя милая, дорогая, хорошая, что я люблю тебя... люблю такъ, какъ никогда никого не любилъ въ жизни...

— Какъ? Сразу? Только что увидѣвъ?

— Жизнь коротка, ее надо брать, ловить, дорожить каждой секундой, каждымъ моментомъ... Все, все, всю жизнь превратить въ свѣтлый, ликующій праздникъ... Я люблю тебя...

— Вы то же говорите и другимъ?

— А, что другія!.. Не говори мнѣ о нихъ!.. Что онѣ въ сравненіи съ тобой!.. Земля и небо... Вѣдь ты красавица, ты божество...

— Да это какой-то сумасшедшій! — смѣялась она, отбиваясь отъ моихъ поцѣлуевъ.

— Да, да, сумасшедшій... Но жизнь, настоящая жизнь, только и начинается тогда, когда перестаетъ работать этотъ трезвый, дѣловой, скучный разсудокъ, и начинается сумасшествіе... Жизнь коротка...

Она продолжала хохотать, все слабѣе и слабѣе отбивалась отъ моихъ поцѣлуевъ, которые я по привычкѣ сыпалъ сотнями въ минуту, и когда мы остановились у калитки маленькаго домика, гдѣ она жила, она, быстро юркнувъ въ калитку, послала мнѣ воздушный поцѣлуй.

Пріѣхавъ къ ней на слѣдующій день послѣ репетиціи, я, разумѣется, первымъ долгомъ поспѣшилъ прійти въ ужасъ:

— Какъ? Вы? Вы? Въ этой крошечной комнаткѣ?

— Ну, да! Я! Я! А вамъ не нравится моя крошечная комнатка?

— Комнатка прелестна, но вы... вы—такая прелесть, такой восторгъ, такое божество...

— Это только вы, кажется, и находите!

Я клялся ей, что, если у нея черезъ мѣсяцъ не будетъ сотни поклонниковъ, то я перестану за ней ухаживать.

— Ахъ, вы ухаживаете только за тѣми, у кого много поклонниковъ?

— Конечно, конечно, моя дорогая. Ну, что такое женщина безъ поклонниковъ? Цвѣтокъ безъ аромата. Надо жить, жить во всю, моя дорогая дѣтка... жить, пока живется... Это только дураки выдумали благо-разуміе. Маленькая рюмка ликера все-таки вкуснѣе цѣлой бочки самой свѣжей воды...

Кстати, по поводу ликера, она сказала, что у нея еще кружится голова послѣ вчерашняго. Я уговорилъ ее немножко проѣхаться. Мы пообедали въ загородномъ ресторанѣ; за кулисами, во время спектакля, я угощалъ ее шампанскимъ, которое она вдругъ „адски полюбила“; послѣ спектакля опять ужинали.

На слѣдующій день ее привели въ восторгъ два-три слова, сказанныя о ней въ какой-то газетѣ, мы поѣхали „спрыскивать первый успѣхъ“, на слѣдующій день я придрался еще къ какому-то случаю.

Черезъ недѣлю моя маленькая бѣлокурая дѣвочка, съ которой хоть сейчасъ рисуй Корделію, различала уже разные марки вина.

Это былъ чудный, милый ребенокъ.

Съ горѣвшими щеками и жадно раскрытыми глазами она слушала мои рассказы про Москву и Петер-

бургъ, шумныя оваціи, успѣхи, цвѣты, бельэтажи, про рысаковъ, экипажи, костюмы отъ Ворта.

Мнѣ доставляло наслажденіе угощать ее завтраками, обѣдами, ужинами, — она такъ мило и смѣшно справлялась съ незнакомыми ей блюдами, говорила такія забавныя, наивныя глупости, когда выпивала два-три стакана вина.

Газетныя замѣтки, которыя я выхватывалъ для нея у знакомыхъ рецензентовъ, и букеты, которые я иногда ей подносилъ на сценѣ, приводили ее и въ восторгъ, и въ самое милое смущеніе.

Она прыгала, какъ ребенокъ, когда нашла у себя въ уборной „настоящее шелковое трико“ взамѣнъ „толстившаго ноги“ обыкновеннаго.

Маленькіе подарки приводили ее въ какое-то радостное опьянѣніе. Она ужасно гордилась своимъ хо-рошенькимъ туалетнымъ столикомъ и страшно кокетничала, дѣйствительно, прелестными ножками въ шелковыхъ чулкахъ и щегольскихъ ботинкахъ.

. Она входила во вкусъ жизни и сама искренно думала, что ей необходимо, для полного блеска, имѣть непременно сто „ухажеровъ“.

Отвратительное опереточное слово, которое мнѣ всегда рѣзало слухъ и которое особенно противно прозвучало у нея, когда она сказала мнѣ:

— А мнѣ сегодня еще двухъ „ухажеровъ“ представили. Итого 48!

Это было даже противно—„ухажеры“ „итого“. Какою-то пошлою провинціей, мѣщанствомъ дышало отъ этой актриски, за обѣдомъ требовавшей непременно шампанскаго, носившей съ гордостью свои шелковые чулки.

Я поморщился и безглаголиво отвѣчалъ:

— Ну, и отлично! Неужели ты думаешь, что это меня интересуешь?

Она сдѣлала удивленные глаза, потомъ какъ-то робко и несмѣло подошла ко мнѣ, положила мнѣ на плечи руки и совсѣмъ виноватымъ тономъ спросила:

— Ты сердишься? Ты ревнуешь?

Я поморщился, постарался освободиться отъ ея рукъ и сказалъ насколько возможно болѣе веселымъ и развязнымъ тономъ:

— Вотъ еще глупости! Ревность, это—любовь глупыхъ людей. Хорошенькая женщина—какъ солнце. Оно свѣтитъ на всѣхъ, остается только радоваться, если его лучи попадаютъ и на насъ.

— А вотъ я такъ иначе... Я тебя ревную... И знаешь къ кому?

Она назвала фамилію одной изъ артистокъ.

Только этого еще недоставало! Чтобы она еще устроила сцену ревности и отравила весь романъ съ этою хорошенькою, изящною, остроумною женщиной, съ такимъ вкусомъ умѣющей пожить, такъ просто, такъ мило заключившей со мною условіе.

— Я тебя не ревную, ты меня—тоже. Мы будемъ слегка любить другъ друга, пока это нравится намъ обоимъ, а когда надоѣсть хоть одному изъ насъ, мы такъ же просто и спокойно разойдемся друзьями!

Эта глупая ревность моей Корделіи меня взбѣсила, а когда она попробовала устроить мнѣ двѣ-три сцены, я прямо и категорически объявилъ ей, что между нами все кончено.

Она упавшимъ голосомъ спросила: „все“?—и, кажется, собралась заплакать, но я дружески взялъ ее за талію.

— Ради Бога, безъ драмъ. Въ жизни и такъ много драмъ, чтобъ стоило ихъ еще выдумывать. Вѣдь ты не раскаиваешься въ томъ, что было, моя милая дѣтка?

— Нѣтъ, — тихо прошептала она.

— Я тоже. Разстанемся друзьями, на жизнь надо смотрѣть трезво. Поѣдемъ, пообѣдаемъ въ послѣдній разъ, помянемъ нашу умершую любовь и отпразднуемъ новорожденную дружбу бутылочкой „Помри“.

— „Помремъ!“ — повторила она глупый каламбуръ какого-то шалопая.

Улыбка, съ которой она повторила эту глупость, вышла какою-то кривою, и моя „маленькая Корделія“ на этотъ разъ что-то слишкомъ долго переодѣвалась, запершись у себя, чтобъ ѣхать обѣдать.

И вотъ вчера, когда я ее встрѣтилъ, меня потянуло снова къ ней. Мнѣ захотѣлось поближе разглядѣть этотъ пышный цвѣтокъ, такъ роскошно распустившійся изъ маленькаго, скромнаго, прелестнаго бутона.

Я только что былъ у нея. У нея роскошная дача. Великолѣпная обстановка. Дома она понравилась мнѣ еще больше, чѣмъ на улицѣ. Я съ восторгомъ смотрѣлъ на эту блестящую, пышную красавицу, но странное дѣло... Мнѣ жаль, до боли въ душѣ было жаль моей „маленькой Корделии“. Въ лицѣ, въ голосѣ, въ интонаціяхъ я старался отыскать этого маленькаго ребенка. Гдѣ же онъ?

Богъ ее знаетъ, что именно она мнѣ говорила, я очнулся только тогда, когда она дотронулась до моего плеча.

— Ну, что же довольны вы мною, мой дорогой учитель жизни?

— Чѣмъ? — переспросилъ я.

— Да тѣмъ, что я вполнѣ усвоила вашу теорію, живу по вашей системѣ. Неужели вы не слышали даже, о чемъ я говорила? У меня, какъ видите, все есть: „золото, бархатъ, цвѣты, кружева, доводящіе умъ до восторга“...

Тутъ ея лицо вдругъ исказилось какою-то скорбною гримасой, но она быстро овладѣла собой и не ожиданно спросила:

— Хотите вина? Выпьемъ за... Нѣтъ, выпьемъ за настоящее: ни прошлаго, ни будущаго нѣтъ. Есть только настоящее. Моментъ. Такъ? Видите, у такого хорошаго учителя, какъ вы, оказалась вполнѣ достойная ученица. Такъ хотите? Выпьемъ за настоящее? За сотню моихъ поклонниковъ? За вашъ хваленый Петербургъ, который я оставила на одно лѣто, чтобы онъ по мнѣ немножко соскучился? За сцену, эту превосходнѣйшую витрину для красивыхъ женщинъ? Словомъ, за настоящее...

— За настоящее? — у меня почему-то какъ-то глупо дрогнулъ голосъ. — Нѣтъ, лучше за ту маленькую Корделию...

Снова та же гримаска передернула ея лицо:

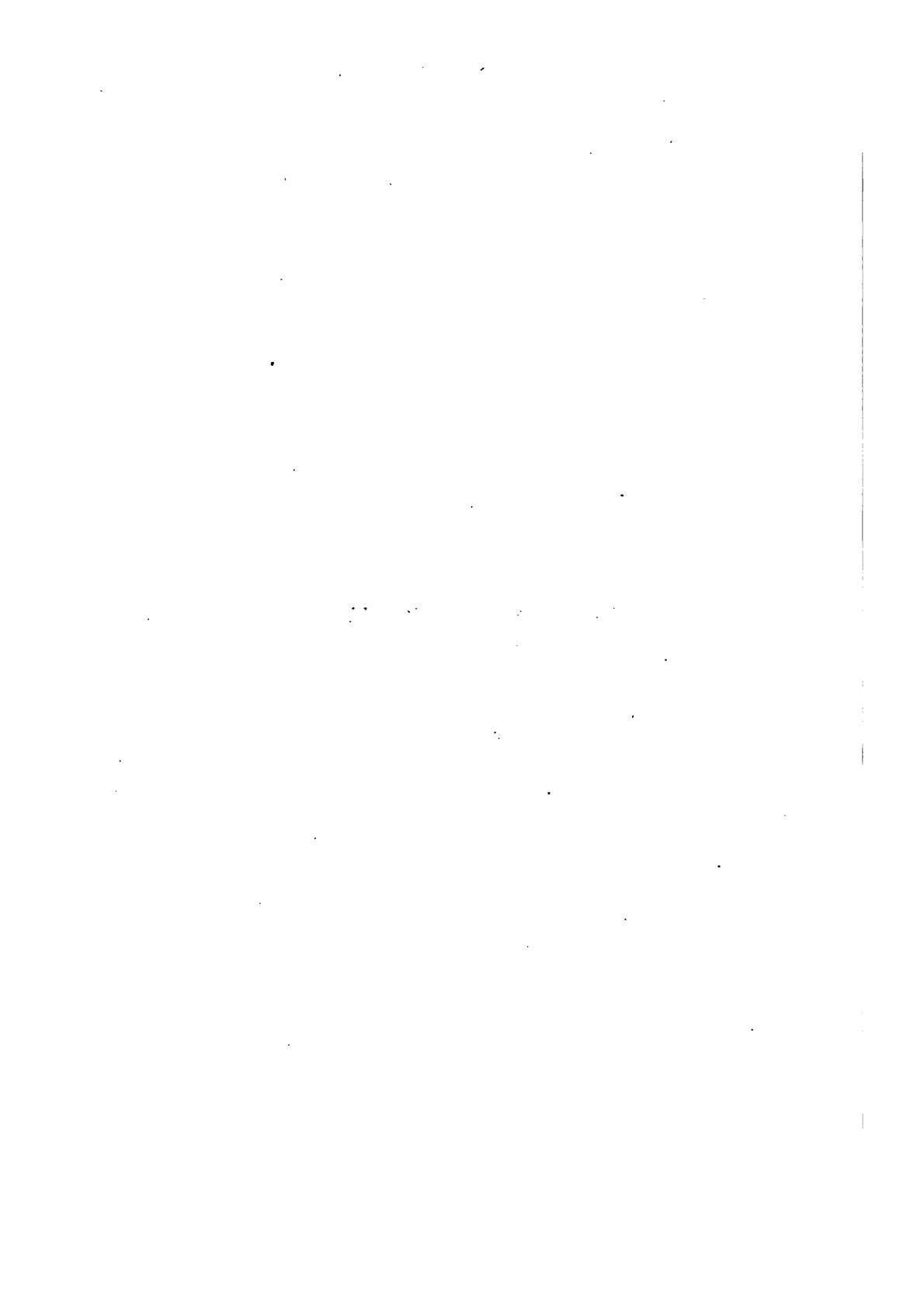
— А теперь я не та?

И, такъ же криво, неудачно улыбнувшись, какъ она улыбулась когда-то, произнося „помремъ“, она сказала тихо и нѣжно, проведя по моимъ волосамъ:

— Да и ты теперь не тотъ, посмотри, у тебя ужъ сѣдые волосы...



СИРЕНЬ.



С и р е н ь.

Они сидѣли другъ противъ друга, немного грустные, какъ это бываетъ при встрѣчѣ послѣ долгой, долгой разлуки, когда такъ много есть что вспомнить.

Онъ—съ доброй улыбкой стараго холостяка, который много кой-чего видѣлъ въ жизни и доволенъ, что попалъ наконецъ въ тихую пристань.

Она—пожилая женщина, съ серебромъ въ волосахъ, съ лицомъ, сохранившимъ еще маленькіе намеки на прежнюю красоту.

Онъ держалъ въ рукѣ вѣточку сирени и машинально искалъ „счастья“,—цвѣтка съ пятью лепестками.

Она сидѣла съ вѣчнымъ, неизбѣжнымъ въ ея возрастѣ, вязаньемъ въ рукахъ.

Когда женщина теряетъ способность любить, она приобретаетъ способность вязать.

Природа не терпитъ пустоты.

Цвѣла сирень.

Ея ароматомъ дышалъ воздухъ. Запахъ сирени широкой волной лился въ открытое окно, будилъ какія-то воспоминанія, неясныя грезы, тихую грусть.

Онъ взглянулъ на нее съ доброй улыбкой.

Она отвѣтила ему тѣмъ же.

— Сколько лѣтъ! Сколько лѣтъ! Какими маленькими кажутся мнѣ теперь комнаты вашего дома. А прежде... Какъ разросся вашъ старый садъ...

— Не одинъ садъ измѣнился, мой добрый, хороший, старый другъ! Только вы не сердитесь на это слово: „старый“. И вы ужъ теперь мало похожи на того Ваню, семнадцатилѣтняго мальчика, который пріѣзжалъ къ дядѣ на каникулы... съ румяными щеками, съ кудрявыми волосами...

Онъ тихо поцѣловалъ ея руку.

— Вы хотите сказать, что и я ужъ теперь не похожа на пятнадцатилѣтнюю дѣвочку въ коротенькомъ платьицѣ. Правда, правда, мой добрый другъ,—жизнь прожита... Все это было давно, давно...

— А для меня какъ будто все это происходило только вчера... Вы знаете, когда я вошелъ сюда, мнѣ показалось, что я ушелъ отсюда вчера вечеромъ, на прощанье украдкой поцѣловавъ вашу руку. Точно вчера

— И все-таки не узнали меня? Мой милый рыцарь, который „вчера“ еще цѣловалъ мою руку...

— Неправда, неправда, Надежда Николаевна! Я васъ узналъ, я васъ сразу узналъ. Это вотъ вы...

— Узнали? Однакоже, на лицѣ вашемъ такъ и написано было удивленіе. Вы ожидали встрѣтить, быть-можетъ, послѣ двадцатипятилѣтней разлуки все еще пятнадцатилѣтнюю дѣвочку?

— Такой вы остались у меня въ памяти!

— Я не узнала васъ, вы не узнали меня. Двадцать пять лѣтъ!

— А мнѣ, вообразите, кажется, будто ихъ не было. Стоило войти въ этотъ домъ, въ этотъ садъ, гдѣ... Вы помните?

— Не будемъ вспоминать объ этихъ пустякахъ!

— Пустяки! Да вѣдь это весна жизни, Надежда Николаевна! Вѣдь чѣмъ же и жить подъ старость, какъ не этими воспоминаніями. Вѣдь это то, что, какъ солнышко, бросаетъ лучи на всю жизнь, грѣетъ старое сердце подъ старость. Вы обижаете меня, Надежда Николаевна, называя это „пустяками“. А ваши клятвы въ томъ, что вы никогда не забудете этихъ минутъ? А вашъ поцѣлуй, сударыня, который вы мнѣ дали вонъ тамъ, въ старой бесѣдкѣ, увитой плющомъ, дикимъ виноградомъ? Вы забыли? Еще тогда пѣлъ соловей,— онъ ютился вонъ тамъ, на старой липѣ. Вы помните это?!

— А ваши клятвы, съ которыми вы вымаливали этотъ поцѣлуй? Ваши обѣщанья никогда не разставаться? Я вѣдь тоже ихъ помню отлично. Вы клялись вонъ тамъ, на лужайкѣ, гдѣ цвѣтеть сирень. Еще я вамъ говорила: „Встаньте, вы испачкаете себѣ колѣни, и всѣ догадаются, какой срамъ!“ Это я васъ увела въ старую бесѣдку. Хорошо, нечего сказать! Надавалъ обѣщаній, а потомъ и пропалъ безъ вѣсти на двадцать пять лѣтъ! Ни слуху, ни духу! Я могла бы десять разъ умереть за это время. Успѣла выйти замужъ, овдовѣть, дочь — невѣста, а онъ хотъ бы глазомъ пріѣхалъ взглянуть! Является черезъ двадцать пять лѣтъ и туда же: „клятвы, обѣщанія“... Не мѣшайте мнѣ вязать! Вы не стоите того, чтобъ я позволяла вамъ цѣловать мою руку. Я и черезъ двадцать пять лѣтъ жалѣю о томъ поцѣлуѣ...

— А я его помню... Вы не можете себѣ представить, какъ я обрадовался, случайно узнавъ, что бывший дядинъ хуторокъ продается. Сейчасъ же распо-

рядился, чтобы купили, приѣхалъ сюда, первый вопросъ о васъ, узналъ, что вы, слава Богу, живы, здоровы,—и къ первой къ вамъ. Такъ и пахнуло чѣмъ-то старымъ, забытымъ,—нѣтъ, не забытымъ: я никогда не забывалъ. Этотъ дѣтскій поцѣлуй, онъ такъ и замеръ, такъ и остался въ душѣ... Что жъ! Я готовъ сдержать всѣ клятвы, которыя давалъ! Не даромъ же я тогда пачкалъ колѣни, ползая по травѣ! Я готовъ сдѣлать вамъ предложеніе!

— Поздно спохватился, батюшка! Это было бы весело! Потѣха для всего уѣзда. Чѣмъ дочь замужъ отдавать, себѣ жениха нашла...

— Что жъ, давайте, потѣшимъ уѣздъ!

— Будетъ, будетъ говорить глупости-то! Подержите-ка мнѣ, Иванъ Николаевичъ, лучше шерсть, я разматаю!

— Давайте шерсть буду держать! Одинъ только, одинъ поцѣлуй на всю жизнь! А вѣдь я любилъ васъ, Надежда Николаевна. Какъ любилъ!

— Да и я, должно-быть, любила, если даже въ бесѣдкѣ цѣловалась! Глупая была!

— Эти робкія пожатія руки...

— И этотъ переходъ на „ты“...

— И этотъ румянецъ, который разлился по вашему лицу...

— И ваши поцѣлуи руки...

— И слезинки, что задрожали тогда на вашихъ длинныхъ рѣсницахъ. Слезы счастья первой любви.

— Держите лучше прямѣе руки. Вы путаете шерсть!

— А ревность?!

— Держите прямѣе руки, говорю я вамъ!

- Виновать... А ревность вы помните?
- Ревности, кажется, не было.
- Какъ же не было! Была! Самая страшная ревность!
- Развѣ я подавала вамъ поводъ?
- Вы не подавали, но я ревновалъ. Какъ же, не было ревности? А съ качелями исторію помните?
- Съ какими качелями?
- Эхъ, все вы перезабыли, сударыня! Вотъ женщины! Со старыми скрипучими качелями, которыя стояли вонъ тамъ, за угломъ. Къ вашей старшей сестрѣ,— Манѣ, кажется...
- Да, да, покойница Маня!
- Къ ней сватался молодой человѣкъ, такой видный, съ усами!
- Покойный Петръ Ивановичъ. Теперь я припоминаю.
- Какъ же забывать такія вещи?! Помните, онъ въ качествѣ жениха ѣздилъ въ вашъ домъ?
- И возилъ мнѣ, кажется, куколъ?
- Не куколъ, сударыня, а конфеты! Это совсѣмъ другое дѣло. Это меня еще больше убѣждало, что вы ужъ взрослая дѣвица. Вы въ куклы ужъ не играли!
- То-есть, играла, но потихоньку!
- Онъ возилъ вамъ конфеты! Конфетѣ, а не куклы! Изъ-за куколъ я не сталъ бы его ревновать. Куклы возятъ дѣтямъ! Ну, можетъ-быть, я убилъ бы его за оскорбленіе, которое онъ наносилъ вамъ, считая васъ ребенкомъ. Это весьма возможно! Но ревновать! Ревнуютъ изъ-за конфетъ! Это поводъ къ ревности!
- И вы сильно ревновали?

— Хотѣлъ даже вызвать его на дуэль. Развѣ вы и этого не помните?

— И этого не помню.

— Ну, тогда коротка же у васъ память! Я перестаю рассказывать!

— Нѣтъ, нѣтъ! Это интересно, продолжайте!

— Только изъ уваженія къ двадцатипятилѣтнему антракту! Исключительно! Забывать такія вещи! Вы меня такъ умоляли не рисковать собой и не убивать его. Даже руку хотѣли мнѣ поцѣловать въ доказательство того, что меня любите. „Я изъ мужчинъ только у папы руку цѣлую, но на то онъ папа. Хочешь, тебѣ руку поцѣлую? Значить, я люблю тебя больше всѣхъ?“ Но я отказался.

— Скажите пожалуйста!

— Да-съ, я былъ великодушень! Нечего смѣяться! Поцѣловали бы тогда у меня руку, — какъ бы вы теперь стали мнѣ въ глаза глядѣть? „А помните, сударыня, какъ вы поцѣловали мнѣ руку?“ Хорошо бы было? А?

— Ну, поцѣловала бы, и поцѣловала! Дѣвчонка была.

— Нѣтъ съ, не дѣвчонка! А женщина, настоящая женщина. „Ага! — сказалъ я. — Ты боишься, что онъ будетъ убить. Хорошо же, я вамъ дарю его жизнь. Вамъ, сударыня!“ Я перешелъ тогда съ вами на „вы“.

— Да не можетъ быть!

— Какъ сейчасъ помню. На „вы“! На „вы“!

— Какая жестокость!

— Да, я былъ тогда неумолимъ. Ты плак... виновать, ради Самого Бога, простите! Ей Богу нечаянно... Виновать, вы плакали! „Хорошо же! — сказали вы, утирая слезы. — Ты обижаешь меня незаслуженно, когда

я готова даже поцѣловать у тебя руку. Хорошо. Я докажу тебѣ свою любовь, докажу, что мнѣ твой"... Какъ его, царство ему небесное!

— Петръ Ивановичъ.

— „Что мнѣ твой Петръ Ивановичъ вовсе не дорогъ“. Какъ засверкали тогда ваши глазки! У васъ были чудные глазки!

— Merci.

— То-есть, я хотѣлъ сказать, что у васъ и теперь красивые глаза. Но тогда, тогда! Неужели вы и теперь не вспоминаете этой исторіи?

— Я вспоминаю. Я вспоминаю. Но рассказывайте, рассказывайте, прошу васъ...

— Я, признаться сказать, на другой и на третій день и забылъ ужъ обо всемъ этомъ. Но вы не забыли. Вы не были тогда такая безпамятная!

— Можетъ-быть, потому что мнѣ было тогда пятнадцать лѣтъ!

— Можетъ-быть. Въ первый же приѣздъ Петра Ивановича вы потащили его качаться на качеляхъ. Онъ даже еще, кажется, не хотѣлъ, предчувствовалъ свою судьбу. Но вы настояли. „Покачайтесь одинъ, я васъ раскачаю“, и вы подтолкнули доску. Онъ раскачнулся, разъ, два, выше, выше... И вдругъ веревка лопнула, доска перевернулась въ воздухъ, Петръ Ивановичъ тоже... Крикъ... Онъ хлопнулся о столбъ... Кровь на затылкѣ... Изъ дома прибѣжали. Васъ отослали сейчасъ же въ вашу комнату „за глупыя затѣи“, но вы успѣли все-таки подойти ко мнѣ и шепнуть: „это я нарочно подрѣзала веревку! Вѣришь теперь, что я его не люблю?“ Такъ объ этомъ, кромѣ меня, никто и не узналъ...

— Помню! Помню! Я, много лѣтъ спустя, рассказала объ этомъ Петру Ивановичу. Вообрази... виновата, вообразите! Да не цѣлуйте мнѣ руки! Чего вы обрадовались? Вообразите! Вообразите! У него такъ на всю жизнь и остался шрамъ на затылкѣ. Ахъ, какіе мы тогда были глупые...

— Глупые! Глупые!

— Именно глупые!

— А во всемъ этомъ все-таки есть какая-то прелесть! Эта первая любовь? Это самое ароматное время жизни! Его благоуханіе сохраняется на всю жизнь. На всю. Это такъ хорошо все. Это... ну, словно какъ распускается сирень!

— Да, это остается на всю жизнь. Ну, что—это пустяки? Глупости? Дѣтская любовь? А вы знаете, это какъ-то осталось въ душѣ. Вы знаете, я вышла замужъ поздно. Мой покойный мужъ, царство ему небесное, былъ хорошій человѣкъ и любилъ меня, какъ дай Богъ, чтобъ быть любимой всякой женѣ. Но это было не то. И онъ мнѣ очень нравился. Мы объяснились на балу, между двумя фигурами мазурки. Я задрожала вся, когда онъ мнѣ сказалъ „люблю“. Вѣроятно, также зардѣлась вся. Не помню, какъ, на какой вопросъ, отвѣчала „да“. Но въ глубинѣ души я чувствовала, что это не то. Душный залъ, громъ музыки, отъ которой у меня кружилась и болѣла голова. Корсетъ, который сжималъ мнѣ грудь. Самый тонъ, наконецъ, которымъ онъ говорилъ, чтобъ не возбуждать вниманія окружающихъ, тонъ обычный, спокойный, какъ будто рѣчь шла о самыхъ обыденныхъ вещахъ, — все было не то... И мнѣ жаль было въ глубинѣ души, — каюсь, — жаль тихой, звѣздной ночи.

тишины старого сада, липовыхъ аллей, плющомъ обвитой бесѣдки, соловьиного рокота и кудряваго Вани, который, торопясь выговорить все сразу, путаясь, стѣша, запинаясь, шопотомъ клянется въ любви...

— Дорогая моя. Мой хорошій, старый другъ!

— Я любила своего мужа. Но мы теперь въ томъ возрастѣ, когда можемъ говорить о нашей молодости, о нашихъ чувствахъ, какъ о покойникахъ, — все. Я любила своего мужа, но когда меня повели отъ вѣнца, и этотъ поцѣлуй, которымъ мы тогда обмѣнялись, показался мнѣ не тѣмъ, который... тогда... въ старой бесѣдкѣ... И сколько, сколько разъ мнѣ снилась кудрявая голова, румяныя щеки, соловьиныя трели, поцѣлуй долгій, какъ вѣчность, — и старый плющъ, который ревниво прикрываетъ все. Быть-можетъ, это даже къ счастью, что вы не пріѣхали раньше...

Она слегка разсмѣялась и покраснѣла.

— А я?.. Вы вышли замужъ, а я такъ и остался холостякомъ, старымъ бобылемъ. Это, конечно, смѣшно, даже глупо, можетъ-быть, — не спору. Пусть смѣется, кто хочетъ. Но даю вамъ слово, каждый разъ, какъ я думалъ о женитьбѣ, мнѣ вспоминалась молоденькая дѣвушка въ коротенькомъ платицѣ, съ пышной каштановой косой, перекинутой черезъ плечо, съ румянцемъ, залившимъ ея смуглое личико, съ опущенными глазками, со слезами, дрожащими на длинныхъ рѣсницахъ. И грустно становилось на душѣ. И какъ буднично, какъ прозаично казалось настоящее въ сравненіи съ этимъ дорогимъ воспоминаніемъ. Съ первой любовью! Вотъ, можетъ-быть, маленькая разгадка того, почему я остался старымъ холостякомъ, старымъ, одинокимъ бобылемъ... Маленькое чувство,

которое осталось въ душѣ. Цвѣтокъ сирени, который остался въ ней на всю жизнь, сохранивъ всю свѣжесть, всю прелесть своего аромата.

— Мой милый, дорогой, хорошій, старый другъ! Вѣдь вы не сердитесь за это слово?—она улыбнулась грустной и доброй улыбкой.

И они молча нѣсколько минутъ просидѣли другъ противъ друга.

Грустные, задумчивые, отдаваясь далекимъ воспоминаніямъ.

— И какъ счастливы мы были бы съ вами, сложились иначе!

— А можетъ-быть, и нѣтъ! Все къ лучшему, что ни дѣлается...

— Можетъ-быть... Можетъ-быть... Я не знаю... Я знаю только, что стоило мнѣ переступить порогъ вашего стараго дома, какъ прошлое воскресло передо мной... И этотъ домъ, и этотъ садъ, и эта старая бесѣдка, и сирень, и весна, и ваша дочка... Мнѣ показалось, что я увидѣлъ васъ. Она, двѣ капли воды, вылитая вы! Вы знаете,—я былъ пораженъ. Вы! Въ коротенькомъ платьицѣ, та же коса, тѣ же глаза, тотъ же взглядъ... Мнѣ показалось сначала, что я съ ума схожу! Вы знаете, меня даже ревность взяла къ этому кудрявому юношѣ, съ которымъ она гуляетъ! Право. Кто это?

— Сынъ одного сосѣда—помѣщика. Они въ двухъ верстахъ отъ насъ... Кстати, спасибо, что напомнили. Вы меня простите! Надо пойти, посмотрѣть, привести ихъ въ комнаты. Дѣти. Не хорошо оставаться вдвоемъ. Мало ли еще какія глупости воображать... Вы меня извините! Я сейчасъ!

Она положила работу и вышла.

Онъ подошелъ къ окну, откуда широкой струей лился запахъ сирени.

По дорожкѣ стараго сада шла парочка. Дѣвушка— подростокъ, въ коротенькомъ платьицѣ. Опустивъ глаза, она вертѣла въ рукахъ вѣточку сирени, искала среди ея цвѣтовъ „счастія“ и слушала, что напоптывалъ ей ея кудрявый кавалеръ, съ раскраснѣвшимся лицомъ и горящими глазами.

— Дѣти!— крикнулъ имъ Иванъ Николаевичъ.— Мама васъ ищетъ. Спрячьтесь скорѣй въ старую бесѣдку! Сейчасъ увидить!

Они вздрогнули, потомъ разсмѣялись и, схватившись за руки, кинулись бѣжать къ старой бесѣдкѣ.

А въ саду ужъ раздавался голосъ Надежды Николаевны:

— Маруся... Маруся... Петинька... Гдѣ вы?..

Онъ стоялъ у окна и улыбался доброй улыбкой стараго холостяка.



ПАНО.

2020

Д а н н о.

(НАВРОСКИ ВЪ НЕМНОЖКО ДЕКАДЕНТСКОМЪ СТИЛѢ).

I. Радость.

Она впервые проснулась въ моей душѣ тамъ, въ церкви, гдѣ отпѣвали моего бѣднаго друга.

Ее разбудилъ запахъ ладана, похоронные напѣвы.

Онъ лежалъ въ гробу неподвижный, блѣдный, холодный, нѣмой.

А я стоялъ около, и сердце мое сжималось отъ горя.

У меня не было даже слезъ, чтобъ плакать.

Я терялъ лучшаго друга.

Еще нѣсколько минутъ, и насъ раздѣлитъ нѣсколько аршинъ земли и вѣчность.

Я больше никогда не увижу его дорогихъ чертъ, въ которыхъ я читалъ столько любви, преданности, симпатіи въ самыя трудныя минуты моей жизни,—когда мнѣ казалось, что я одинокъ на свѣтѣ.

Вѣдь я не былъ одинокъ, пока на свѣтѣ жилъ мой другъ.

Я зналъ, что есть еще одно сердце, способное сжаться отъ моихъ страданій, сильнѣе заботиться моей радостью.

Все, что бы ни происходило, заставляет биться сильнее или замирать не одно, а два сердца.

О, это сознание!

И вот теперь я думаю о немъ и гляжу на его восковую маску.

Эти дорогія черты, которыя только смерть могла сдѣлать холодными и безстрастными.

Только одно сердце бьется теперь на свѣтѣ.

Другое спитъ.

И не проснется никогда.

„Никогда“. Бездонная пропасть, въ которую страшно заглянуть человеку.

„Никогда“—пропасть, изъ которой вѣетъ холодомъ смерти, ледяющимъ душу.

„Никогда!“

О, это страшнѣйшее изъ словъ!

Онъ лежитъ холодный, нѣмой,—для него наступило это „никогда“.

И вдругъ радость, что это онъ, а не я, лежитъ здѣсь, въ этомъ гробу, холодный, недвижимый, нѣмой, — безумная радость проснулась въ моемъ сердцѣ.

Что не для меня наступила эта страшная пора — „никогда“.

Эгоизмъ — испарение могилъ.

Видъ гроба переполняетъ васъ радостью, что онъ сдѣланъ не для васъ.

Я съ упоениемъ слушалъ похоронные нагѣвы, жадно вдыхалъ запахъ ладана.

Я слышу, чувствую, я могу обонять, осязать.

Я живу!

О, какое счастье жить, видѣть, чувствовать.

Какое счастье, что онъ, а не я, лежитъ въ этомъ ящикѣ, обитомъ серебряной парчѣй.

Что надъ нимъ, а не надо мной, закроютъ эту крышку навѣки.

О, какая радость, какое счастье!

Я живу!

Я вышелъ изъ церкви, потому что восторгъ сознанія, что я еще ускользаю отъ когтей смерти, въ которые онъ уже попался,—этотъ восторгъ переполнял мнѣ душу.

Я сказалъ другимъ, что у меня кружится голова отъ ладана, когда она кружилась отъ счастья.

Они подумали, что она кружится, быть-можетъ, отъ горя...

Я вышелъ на паперть.

Была весна.

Въ воздухъ пахло цвѣтущей черемухой.

Зеленая трава изумруднымъ блескомъ сверкала на солнцѣ.

Щебетали птицы.

И все это: воздухъ, запахъ цвѣтущей черемухи, яркая зелень травы, золотой блескъ солнца, веселое щебетаніе птицъ,—все это для меня.

Я живу, я вижу, я чувствую!

А тамъ, въ церкви, въ ящикѣ, обитомъ серебряной парчѣй, холодный, нѣмой, недвижимый, лежитъ трупъ другого.

Прости, мой бѣдный другъ, на твоихъ похоронахъ я впервые почувствовать, созналъ радость.

Радость существованія. Радость бытія.

Величайшую изъ радостей.

Родоначалъницу всѣхъ радостей.

II. Г р у с т ь .

Она родилась на кладбищѣ, осенью, когда блекнуть, желтѣютъ деревья, и аллеи кажутся слитыми изъ золота.

Когда золотымъ погребальнымъ покровомъ покрывается умирающая природа.

Она родилась изъ шелеста сухихъ листьевъ, катившихся по землѣ, изъ холодныхъ лучей солнца, изъ рѣдкаго печальнаго щебета птицъ.

Я стоялъ около этой маленькой могилы, которая чужда всѣмъ, кромѣ одного.

Вы пройдете спокойно мимо нея, а у меня въ ней похоронено все, что было лучшаго въ жизни.

Похоронена частица меня самого.

Больше, чѣмъ я самъ, чѣмъ вся моя жизнь. Похоронена та, которую я любилъ.

И тогда-то впервые сердце сжалось тоскливо, чтобъ потомъ никогда ужъ не разжиматься.

Она какъ тѣнь мелькнула среди памятниковъ и крестовъ, неслышно подобралась ко мнѣ, покрыла своими холодными крыльями и завладѣла мною всецѣло.

Она, моя богиня, властительница моихъ мыслей и чувствъ,—она, что живетъ съ тѣхъ поръ въ моей душѣ,—она, грусть.

Я чувствую на своемъ лицѣ вѣяніе ея крыльевъ.

Эти крылья распростерты надо мной.

И порой мнѣ кажется, что достаточно взглянуть вверхъ, чтобъ увидѣть эти простертыя крылья.

Солнце не палитъ меня, потому что его лучи холодѣютъ отъ этихъ крыльевъ, осѣняющихъ меня, мою душу.

Блѣдная богиня, живущая въ моемъ сердцѣ.

Отъ взгляда ея меркнуть краски.

Дыханіе ея губить радость.

О, я чувствую ее всегда здѣсь, близко, около, рядомъ со мною.

Среди пира я вижу устремленные на меня ея задумчивые, печальные глаза.

— Ты умрешь!—шепчетъ она.

Къ чему же радости?

Она ревниво вырываетъ меня изъ объятій подруги.

— Ты, она, все умереть, все, что существуетъ!

Она, моя богиня, грусть, она слышится мнѣ въ свистѣ отходящаго паровоза, видится рядомъ съ розовымъ парусомъ несущагося вдаль судна.

Она чувствуетъ во всемъ, что говорить о прощаньѣ, о разставаньѣ.

Ея холодъ навѣкъ сковалъ мое сердце.

Что бы я ни чувствовалъ,—я все чувствую съ легкой примѣсью грусти.

Радость, любовь, наслажденіе,—все это подернуто для меня словно чернымъ прозрачнымъ флеромъ, смягчающимъ цвѣта, блескъ у красокъ.

Этотъ флеръ, которымъ для меня подернуть весь міръ, это—она, моя богиня, властительница моихъ думъ.

О, богиня, не отлетай отъ меня въ послѣднюю минуту. Пусть меня похоронятъ съ сердцемъ, переполненнымъ тобою.

Въ ту минуту, когда моя рука будетъ въ нерѣшительности сжимать ручку револьвера, когда я на своемъ вискѣ почувствую холодный кружокъ дула...

Когда въ моемъ сердцѣ проснется съ безумной силою желаніе жить, вопреки логикѣ вещей, вопреки доводамъ разума, могучей рукою схватить мой мозгъ и крикнетъ ему:

— Живи!

Когда измѣнница - память откинетъ все дурное, развернетъ передо мною лишь пеструю ткань радостей жизни.

Приди, приди, явись, о богиня, царица моя!

Пусть при твоёмъ появленіи померкнутъ всѣ краски жизни.

Все, что манить и притягиваетъ къ землѣ желаніемъ жить.

Холодомъ вновь обвѣй это бѣдное сердце.

И пусть не дрогнетъ рука, посылая прощаніе съ жизнью.

О, въ эту минуту не оставляй меня одинокимъ въ борьбѣ.

Явись, прилети, богиня, царица моя...

III. С м ѣ х ъ.

Маленькій, дрожащій божокъ.

Ты являешься неожиданно и бросаешь свои маленькіе яркіе факелы туда, гдѣ этого никто не ожидаетъ

Любовь, радость, ревность и печаль, — нѣтъ преградъ для тебя.

Ты перебрасываешь свои маленькіе факелы черезъ самыя высокія чувства.

И они катятся по землѣ, эти маленькіе факелы, все освѣщая яркимъ, словно бенгальскимъ, огнемъ.

Въ ихъ освѣщеніи все измѣняетъ форму и видъ.

Всѣ предметы принимаютъ уродливыя, преувеличенныя очертанія.

Все кругомъ наполняется причудливыми призраками.

Ты кидаешь свой маленькій факелъ, и мы не узнаемъ того, что только что казалось высокимъ, близкимъ, дорогимъ.

Все становится уродливымъ отъ этого блеска.

И мы, какъ ты, дрожимъ отъ хохота надъ тѣмъ, что привыкли считать дорогимъ и священнымъ.

Для тебя нѣтъ ничего святого.

Ты всюду кидаешь свои маленькіе факелы.

Весь міръ освѣщаешь своими прихотливыми, потѣшными огнями, показывающими намъ предметы въ извращенномъ, преувеличенномъ видѣ.

И мы охотно дѣлаемся, вслѣдъ за тобой, отступниками, смѣемся надъ тѣмъ, чему поклонялись.

Я люблю тебя, маленькій, дрожащій божокъ!

И нѣтъ уголка въ душѣ, въ который я не позволилъ бы тебѣ бросить твой маленькій факелъ.

Въ ту минуту, когда я буду неподвижный, прикованный къ постели, лежать, чувствуя, какъ притягиваетъ меня къ себѣ земля...

А въ сердцѣ проснется больше, чѣмъ когда-нибудь, желаніе жить...

Когда душа наполнится тоскою разставанія...

И тяжела будетъ моя послѣдняя минута...

Брось тогда свой маленькій пылающій факелъ, веселый божокъ,—брось его въ жизнь, и пусть я увижу ее освѣщенной яркимъ, дрожащимъ свѣтомъ.

Пусть все покажется мнѣ смѣшнымъ, нелѣпымъ, имѣющимъ уродливыя формы.

И я умру, съ улыбкой на устахъ, благословляя лишь тебя одного, маленькій дрожащій божокъ.

IV. М щ е н і е.

Мщєніє.

Вы слышите эту музыку, захватывающую и уносящую сердце:

— Мщєніє!

Вы слышите, какъ грохочутъ барабаны, какъ гремятъ мѣдныя трубы, слышите вы свистъ флейтъ и звонъ литавровъ въ этой чудной симфоніи, въ этомъ одномъ словѣ:

— Мщєніє!

Чувствовать несмытую обиду, ежеминутно растравлять рану въ груди и тихо шептать про себя:

— Мщєніє.

Видѣть каждую минуту передъ собою лицо врага, какъ лицо любимой женщины.

Закрывать глаза, чтобъ лучше разглядѣть это лицо, которое какъ призракъ встаетъ передъ вами.

Видѣть, постоянно видѣть это лицо, гдѣ вы запомнили малѣйшую черту.

И повторять про себя:

— Мщєніє.

Ждать минуты встрѣчи, какъ момента свиданія.

И тысячи разъ убивать врага, рисуя себѣ, какъ струится его кровь.

Съ сильно бьющимся сердцемъ напрягать всю фантазію и выдумывать страшнѣйшія пытки.

О, мозгъ въ эту минуту переполненъ кровью, и, опьяненный ею какъ виномъ, твердитъ одно только слово:

— Мщеніе!

Ждать.

Сжимать рукоятку кинжала, спрятавшись и поджидая.

Сдерживать свое хриплое дыханіе, чувствовать его палящій жаръ.

Томиться жаждой и желать утолить ее не водою, а кровью.

Считать время по ударамъ своего сердца, которое выбиваетъ о стѣнки груди одинъ звукъ:

— Мщеніе.

И дождаться.

Выскочить изъ засады и стать прямо противъ, заграждая дорогу, лицомъ къ лицу.

Вспомнить обиду, чтобы сильнѣе загорѣлось желаніе.

Прочитать ужасъ въ его глазахъ.

Видѣть его лицо, на которомъ искаженными чертами написано одно только слово:

„Страхъ“.

Окинуть его взглядомъ съ головы до ногъ, выбирая мѣсто для удара.

И вонзить ножъ въ дрожащее тѣло.

Еще разъ... еще...

Эта брызнувшая кровь, этотъ стонъ и безсильное паденіе тѣла.

Тогда кинуться къ нему на грудь, лицомъ къ лицу, устремить свой взглядъ въ его глаза и заглянуть къ нему въ душу.

Увидать въ ней страхъ, ужась передъ смертью.

Да, да,—ты умираешь, а я остаюсь жить.

Ты больше ничего не увидишь изъ того, что вижу я.

Ты будешь лежать тамъ, а я буду жить, чувствовать, дышать, вспоминать.

И еще разъ погрузить красный и ставшій теплымъ отъ крови ножъ въ его грудь, чтобъ не подарить ему лишняго момента жизни.

И глядѣть, какъ свѣтъ меркнетъ у него въ глазахъ.

Тогда встать ногой на холодный бездыханный трупъ и, со вздохомъ удовлетворенія за долгія, бессонныя ночи, тихо сказать, кидая ножъ:

— Мщеніе.

В. Р е в н о с т ь

О, чудовище съ зелеными глазами.

Ты, которое заставляешь насъ еще сильнѣе любить то, что мы теряемъ.

Ты, которое придаешь вновь такую цѣну тому, къ чему мы уже привыкли, чѣмъ начинали томиться.

Чудовище, страшными когтями схватывающее тѣло и выѣдающее изъ него душу.

Художникъ, который рисуетъ тысячи картинъ въ одно мгновеніе.

Картинъ, отъ которыхъ кровь бросается къ мозгу и сердце готово разорваться на части.

Ты, снабжающее насъ своими когтями и заставляющее наши руки судорожно сжиматься, какъ сжимаются твои цѣпкія лапы.

Ты, умѣющее говорить только одну фразу:

— Она въ объятіяхъ другого.

Но какъ говорить!

Ты—необыкновенный алхимикъ, мѣшающій любовь съ ненавистью и опьяняющій насъ этимъ адскимъ напиткомъ.

Ты, которое даетъ намъ второе зрѣніе, заставляющее насъ всюду видѣть „его“ слѣды.

Ты, преувеличивающее предметы.

Ты—то, которое душишь сонъ и гонишь мысли.

Ты, заставляющее насъ жить, чтобъ убить, и срывать съ ея лица нашими устами слѣды чужихъ поцѣлуевъ.

Чудовище съ зелеными глазами, какъ пантера, притаившееся за любовью.

VI. С т р а с т ь .

Ея отецъ—время. Ея мать—пространство. Она родилась въ разлукѣ.

Смѣсь разстоянія и времени, отдѣляющихъ насъ другъ отъ друга, породила ее.

А подлая прислужница память, раболѣпная и готовая на услуги, пришла на помощь.

Они вмѣстѣ уничтожили и время и пространство.

Она далеко, а я слышу ея дыханіе, запахъ ея волосъ.

Это было давно, а на моихъ устахъ горятъ ея поцѣлуи.

Какіе поцѣлуи!

Память пришла на помощь страсти и вмѣстѣ заставили меня желать невозможнаго.

Онѣ прогнали сонъ, раскалили подушки, уничтожили ночь и наполнили ее яркимъ, сверкающимъ свѣтомъ.

Да, я вижу ее.

Я вижу каждый изгибъ, каждую линію ея тѣла.

Мнѣ кажется, что стоитъ протянуть руки, и она въ моихъ объятіяхъ.

Я сжимаю ея станъ.

Ея глаза глядятъ въ мои,—и изъ нихъ льется страсть и туманитъ и безъ того обезумѣвшій мозгъ.

Она здѣсь... Ея нѣтъ около меня...

Это невозможно, — потому еще больше будитъ желанія.

Я страдаю, я мучусь,—и что передъ этимъ огнемъ, на которомъ горю я, жалкій огонь ада.

Предъ огнемъ несбыточныхъ желаній...



Вечерняя молитва.

Вечерняя молитва.

Солнце скрылось за величественной Яйлой, позолотивъ ея вершины, стройные кипарисы въ послѣдній разъ бросили длинныя, дрожащія тѣни, лазурное, сверкающее море померкло, пурпуромъ зажглись облака, прозрачнымъ бѣловатымъ облачкомъ показался на небосклонѣ молодой мѣсяцъ, и повѣяло вечерней прохладой,—когда муэдзинъ Маметъ, раскачнувшись всѣмъ корпусомъ, протяжно и заунывно запѣлъ съ минарета:

— Ля иллагъ...

Стономъ какимъ-то пронеслись надъ Артекомъ слова святой молитвы.

Словно жаловался старый Маметъ на что-то все-сильному Аллаху.

Да и было на что.

Давно ли,—Маметъ самъ еще помнитъ это время,—при первомъ словѣ вечерней молитвы весь Артекъ спѣшилъ по домамъ, а къ слову „иль Аллахъ“ все затихало въ Артекѣ, и каждый правовѣрный на колѣняхъ благоговѣнно творилъ священный намазъ.

А теперь...

Онъ одинъ здѣсь, съ высоты минарета, славить Бога и Его великаго пророка, и одиноко несется эта молитва туда, въ лазурное небо.

Вонъ толстый Хаби-Булла идетъ себѣ по дорогѣ и лѣнливо погоняетъ лошадь, нагруженную связками табаку, и не торопится, словно и не слышитъ, что съ минарета муэдзинъ призываетъ къ молитвѣ.

Улица полна татарской молодежью,—говоръ, смѣхъ, шутки.

Лѣнливые турки дремлютъ на порогахъ своихъ домовъ.

Да и какъ отличишь теперь мусульманина отъ невѣрнаго грека?

Халиль пьетъ водку.

Аліева жена приходила вчера жаловаться къ муллѣ на то, что мужъ бросилъ ее, ушелъ въ Ялту проводникомъ и не даритъ ее ласками, которыми обязанъ дарить правовѣрный мусульманинъ Аллахомъ данную ему жену.

Про Керима говорятъ, что онъ ѣстъ даже свинину.

Охо-хо-хо! До чего дошло. Деньги подъ большой процентъ даютъ, какъ греки.

А Абдулла и совсѣмъ бросилъ Артекъ, ушелъ въ городъ, перемѣнилъ вѣру отцовъ и женился на гяуркѣ.

И Маметъ съ какимъ - то ужасомъ выкрикнулъ святое слово:

— Иль Аллахъ...

А все проклятые урусы, которые поселились вонъ тамъ, за величественнымъ Аю-Дагомъ, въ Гурзуфѣ, въ Ялтѣ,—и вонъ тамъ, въ Алупкѣ,—которые прѣзжаютъ сюда или умирать или веселиться и портятъ мусульманъ.

Все отъ нихъ...

И вѣра упала и виноградъ вздорожалъ, заброшены табачныя поля и кое-какъ обрабатываются лѣнливыми

наемниками. Молодежь ушла въ города. Они отнимаютъ мужей у женъ, дѣтей у престарѣлыхъ родителей и добрыхъ правовѣрныхъ у великаго пророка.

Алимбекъ въ самый день Большого Байрама ускоркалъ изъ дома съ какой-то барыней въ Ай-Даниль.

Это они, развращенные, не знающіе великаго пророка, погибшіе гяуры наполнили сердца правовѣрныхъ жадностью къ разноцвѣтнымъ бумажкамъ, пристрастили ихъ къ шитымъ серебромъ курткамъ, дорогимъ лошадямъ и золотымъ поясамъ.

Гуссейнъ пріѣзжалъ какъ-то изъ Ялты.

Ай-ай-ай! Что за лошадь! Сѣдло желтой кожи, рублей 75, а то и всѣ 100 стоитъ. Грудь въ серебрѣ, а станъ золотымъ поясомъ такъ перетянуть, какъ у рѣдкой русской женщины бываетъ. А ужъ онѣ ли не перетягиваются?

Хорошо, что и говорить. Любо, дорого посморѣть на такого молодца.

И потомъ руки въ кольцахъ, и нагайка была еще серебряная, хорошая нагайка, дорогая нагайка!

Что жъ, развѣ и въ его время не любили одѣваться? Посмотрѣли бы они на Мамета лѣтъ 40 тому назадъ! И въ его время человѣкъ зарабатывалъ деньги.

Ай-ай-ай! Сколько пуль было выпущено по Мамету пограничной стражей, когда онъ по ночамъ тайкомъ въ лодкѣ подвозилъ запрещенный товаръ.

Какъ по звѣрю охотились.

И теперь еще двѣ пули сидятъ, — одна въ ногѣ, другая въ спинѣ. А рубцовъ отъ ранъ и не сосчитать. Другой разъ такъ разноются старыя кости, такъ разболятся старыя раны, что насилу-насилу вползешь

на минареть и едва-едва себѣ подѣ носѣ прогнусавишь молитву.

Но развѣ онѣ когда-нибудь забывалъ Аллаха?

Развѣ онѣ, сидя въ камышахъ по три дня не ѣвши, какъ голодный звѣрь, забылъ когда-нибудь сотворить утреннюю, полдневную или вечернюю молитву? А вѣдь кругомъ ходили, искали, рыскали, каждую минуту могъ грянуть выстрѣлъ — и прощай Маметъ!

Охъ, сколько видѣлъ на своемъ вѣку старый Маметъ. Вездѣ ходилъ, а Бога не забывалъ. И въ Трапезондѣ ходилъ, и въ Батумѣ ходилъ, и въ Стамбулѣ ходилъ, все возилъ: табакъ возилъ, шелки возилъ, оливки возилъ, только вина не возилъ, потому что вино проклято пророкомъ.

А теперь и вино возятъ.

И, задумавшись о добромъ старомъ времени, Маметъ и самъ не замѣтилъ, какъ три раза подѣ рядъ тихо и жалобно пропѣлъ святое слово:

— Магометъ... Магометъ... Магометъ...

А все проклятыя урускія женщины. Какъ ихъ называютъ?... Ахъ, Аллахъ, дай память... „Куптшихи“.

Видѣлъ онѣ ихъ. Красивыя барыни. Полныя барыни. Румяныя барыни.

Настоящія пчелы. Вѣрное слово мусульманина! Хе-хе! Сама такая полная-полная, а станъ какъ ничточка.

Пріѣзжала тутъ одна. Какъ ее звали? Еще имя такое красивое... „Люпофъ“ звали.

Черное платье такъ всю и обтягиваетъ. Ноги маленькія, руки маленькія. А сама раскраснѣлась вся, дышитъ такъ тяжело да глубоко, а глаза такъ и горять.

Людей тоже съ ней много, прїѣзжало, — „цѣлая кумпанія“, какъ говорятъ урусы. Такъ передъ ней и прыгають. А она на Абубекра только и смотритъ.

Да и то сказать: развѣ такой человѣкъ для такой барыни?

Хорошая барыня, отчаянная барыня. На Аю-Дагъ верхомъ взбиралась, съ Аю-Дага верхомъ съѣзжала. Подъ гору такъ лошадь пустить, что одинъ Абубекръ поспѣть могъ.

А урусскіе кавалеры трухъ-трухъ,—она ужъ давно на другую гору переѣхала, а они еще съ этой не съѣхали. А одинъ слѣзъ съ лошади и ведетъ ее съ горки въ поводу. Ха-ха-ха! Потѣха!

Хорошая барыня. Смѣлая барыня.

Если бъ Мамету лѣтъ тридцать со старыхъ костей сбросить. Хе-хе!

Маметъ даже улынулся при этой мысли и, чтобъ отогнать не имѣющіе прямого отношенія къ молитвѣ помыслы, поторопился запѣть:

— Магометъ, россуль Аллахъ...

Аллахъ акбаръ! Да развѣ онъ не знаетъ, какая пріятная бываетъ урусская барыня!

Давно это было. Скоро послѣ того, какъ въ Севастополѣ стрѣляли.

Ай-ай-ай! Какая красивая барыня въ Юрзуфѣ жила. Учительницей была.

Волосы, ну, вотъ словно золото, до колѣнъ,—Аллахъ акбаръ, до колѣнъ золотые волосы.

Да что и вспоминать! Голову потерялъ тогда Маметъ, самъ себя не помнилъ Маметъ. Въ Трапезондѣ ѣхать надо было—въ Трапезондѣ не поѣхалъ. Табаку сто пудовъ пропало — пусть пропало. Все равно было

Мамету! Недѣлю мучился Маметъ, а на восьмой день тайкомъ на Аю-Дагъ всего отвезъ: хлѣба отвезъ, барана отвезъ, бузы отвезъ. Четыре ковра хорошихъ,—изъ Стамбула контрабандой досталъ, чуть не застрѣлили,—отвезъ и пещерку ими въ скалѣ совсѣмъ какъ комнату хорошую сдѣлалъ.

Потомъ на дорогѣ засѣлъ.

Гулять она къ Артеку ходила.

День сидѣлъ, два сидѣлъ, на третій къ вечеру, смотритъ, она идетъ, въ книжку что-то читаетъ. Духъ захватило у Мамета, когда съ нимъ поравнялась. Какъ звѣрь, кинулся онъ на нее изъ засады, ротъ завязалъ, на Аю-Дагъ на рукахъ принесъ и двѣнадцать дней душа въ душу выжилъ. Искали ее. Да развѣ на Медвѣдь-Горѣ отыщешь! Такія тропинки есть, которыя рѣдкій татаринъ даже знаетъ. Коза только тамъ пройдетъ, гдѣ онъ ее несъ.

И ничего. Сначала все плакала, деньги обѣщала, чтобъ только Маметъ ее отпустилъ. Да развѣ Мамету деньги были нужны?

На ночь ее къ себѣ привязывалъ, чтобъ не ушла.

Только разъ, ночью, просыпается Маметъ—нѣтъ барыни. Отвязалась барыня, ушла. Вышелъ Маметъ, ночь темная, зги не видно. Да развѣ не увидитъ чего контрабандистъ? И не въ такія ночи по горамъ лазили, за триста шаговъ часового видѣли.

Видитъ Маметъ, что ползетъ она по скалѣ, вотъ-вотъ сорвется, упадетъ! Догналъ ее Маметъ, въ охапку схватилъ, какъ маленькую козочку, назадъ принесъ.

Только взяло его послѣ этого раздумье. Что дѣлать съ барыней?

Бѣжать, съ собою взять? Нельзя. Здѣсь жить? Хлѣбъ весь съѣли, барана всего съѣли, бузу всю выпили. Въ Артекъ пойти, еще хлѣба взять? Схватятъ, пожалуй, скажутъ: гдѣ былъ?

Одному бѣжать? Ужъ очень жалко родину покидать,—и отецъ похороненъ тутъ, и мать здѣсь лежитъ, и дѣдъ, и прадѣдъ. Грѣшно родную землю кидать.

Думаль-думаль Маметъ, да и дождался другой темной ночи, когда заснула она крѣпко. Чтобъ не мучилась.

Дышитъ во снѣ такъ ровно, покойно. Можетъ, во снѣ своихъ видитъ. Они вѣдь тоже, хоть гяуры, а у нихъ тоже какъ у насъ: брата, можетъ-быть, сестру имѣетъ, мать, отца, жениха, можетъ-быть, видитъ, а можетъ-быть и Мамета во снѣ видитъ.

Поцѣловаль ее Маметъ въ послѣдній разъ. Сквозь сонъ на поцѣлуй отвѣчаетъ.

Жалко. Да и себя жалко. Могилу отца, матери бросать жалко.

Подождать еще денекъ? Пищи никакой нѣтъ. Послѣдній кусокъ съѣли. Что жъ ей, бѣдной, мучиться?

Ахъ, какъ жалко стало ее Мамету!

Отвернулся, какъ за горло ее взялъ и словно клещами желѣзными сжалъ.

Только вздрогнула. Да и то одинъ разъ. Не мучилъ ее Маметъ. Руки далъ ему Аллахъ сильныя: и не такую бы козочку маленькую задушилъ.

Взялъ ее Маметъ, осторожно внизъ на берегъ снесъ.

Море въ ту ночь сильно шумѣло.

Дождался Маметъ, какъ большая волна съ разбѣга о берегъ ударилась, и бросилъ свою ношу.

Словно просвѣтлѣло все въ очахъ у Мамета.

Сквозь ночь, сквозь мракъ видѣль онъ все, какъ днемъ.

Видѣль, какъ подхватила волна его козочку, перевернула и другой волнѣ перебросила, другая — третьей; еще разъ показалась бѣдная наверху, а тамъ ужъ только бѣлое что-то мелькнуло: не то рука ея, не то пѣна на сѣдомъ хребтѣ волны сверкнула.

Страшно стало тогда Мамету, да и теперь онъ вздрогнулъ при воспоминаніи, раскачнулся и еще разъ повторилъ „Магометъ россуль Аллахъ“, словно молилъ у великаго пророка пощады, пощады, пощады за страшный содѣянный грѣхъ.

Что жъ! Онъ знаетъ, что это грѣшно.

Но развѣ онъ не сдѣлался потомъ муэдзиномъ, развѣ не отдалъ себя всего Аллаху и его великому пророку? Развѣ онъ не аккуратно взбирается на минареть и въ часъ, когда лучезарное солнце поднимается изъ моря, золотя волны и яркимъ пурпуромъ окрашивая облака, и въ тотъ часъ, когда оно неподвижно стоитъ надъ Аю-Дагомъ и льетъ свои горячіе лучи на раскаленную землю, и въ часъ, когда вечернія тѣни лягутъ на землю, а блѣдный мѣсяцъ, словно призракъ, появится на небосклонѣ, — развѣ не славить онъ Аллаха? Развѣ не призываетъ онъ правовѣрныхъ къ тому же?

Аллахъ добръ, Аллахъ всегда проститъ, если ему хорошенько помолиться.

И Маметъ, взглянувши на забывшій Бога Артекъ, грозно пропѣлъ:

— Даккель, даккель, даккель!

Молитесь! Страшенъ гнѣвъ великаго Аллаха!

Онъ велитъ снова подняться вонъ тому великому Медвѣдю, который задремалъ на берегу моря, и великанъ сотретъ васъ съ лица земли, какъ встарь стиралъ прадѣдовъ.

Давно то было, — и о томъ рассказываютъ дѣды.

Тогда Крымъ цвѣлъ не такъ, какъ теперь. Тогда не было бесплодныхъ скалъ, утесовъ и огромныхъ камней. Вездѣ росли виноградъ и табакъ и плодовые деревья.

И люди все-таки забыли Бога.

Тогда Аллахъ послалъ на эту страну великаго Медвѣдя.

Медвѣдь приплылъ по морю оттуда, гдѣ круглый годъ и снѣгъ, и ледъ, и холодъ, — какъ зимой на вершинѣ Чатырь-Дага.

Медвѣдь выплылъ на берегъ у Байдарскихъ воротъ и пошелъ, разрушая все на пути. Отъ его ступни земля слѣзала съ камней, какъ мясо съ костей, и обнажались эти кости, а онъ дробилъ ихъ своей тяжелой ступней, земля стонала, и цѣлыя селенія гибли отъ падавшихъ на нихъ обломковъ костей земли.

Такъ онъ прошелъ до самаго Артека и тутъ остановился и, усталый, прильнулъ къ морю напиться.

Тутъ великій Аллахъ сжалился надъ правовѣрными и остановилъ Медвѣдя, превративъ его въ гору, и приказалъ ему пить воду и подкрѣпляться до тѣхъ поръ, пока онъ снова не прикажетъ ему итти дальше.

И близокъ, близокъ часъ великаго гнѣва Аллаха!

Поднимется великій Медвѣдь и снова пойдетъ по землѣ.

Въ свѣтломъ сумракѣ ранняго вечера Мамету ясно были видны очертанія Медвѣдя, словно дѣйствительно припавшаго къ морю пить воду.

Вонъ темнѣютъ заднія ноги, вонъ переднія, вонъ огромная голова...

Солнце глубоко ушло за Яйлу, и отъ его послѣднихъ лучей побѣжали лиловатыя тѣни по вершинѣ Аю-Дага.

Мамету показалось, что Медвѣдь ужъ оживаетъ, что его спина ужъ шевелится, что онъ вотъ-вотъ поднимется и пойдетъ...

Маметъ съ ужасомъ взглянулъ на крошечный Артекъ и съ какимъ-то отчаяніемъ прокричалъ:

— Аккель! Аккель! Аккель!

Но тутъ Маметъ увидѣлъ, что въ деревню въѣзжаетъ Джафаръ.

— Ага, вернулся изъ Симферополя проклятый бузукъ, значить, продалъ табакъ и есть деньги. Постой же, я покажу тебѣ, какъ брать взаймы да по году не платить сто рублей, за которые ты мнѣ отдашь полтора!

И Маметъ, наскоро крикнувъ „Магометъ“, бѣгомъ побѣжалъ съ минарета ловить неисправнаго должника.



Покойники моря.

Л о к о й н и к и м о р я .

(изъ народныхъ сказаній.)

Это было давно. Но отцы теперешнихъ стариковъ еще помнили старичка-священника, поселившагося въ Крыму, близъ Гурзуфа, въ одной изъ пещеръ Аю-Дага.

Никто не зналъ, когда онъ поселился тамъ, кто онъ и откуда. Рассказывали разное. Одни говорили, что его выбросило на берегъ послѣ кораблекрушенія, въ которомъ онъ потерялъ всѣхъ близкихъ и милыхъ сердцу, сдѣлавшихся жертвами разъяреннаго моря. Другіе говорили, что бури моря житейскаго отняли у него все, что привязывало его къ міру, и онъ удалился сюда, чтобъ предаться молитвенному общенію съ Богомъ, созерцать красоты Его творенія, содрогаться праведному гнѣву Его и умиловать Его своими молитвами.

Что привело его къ морю—неизвѣстно, но море было единственнымъ міромъ, съ которымъ имѣлъ онъ общеніе.

Никто не нарушалъ его уединенія. Никто не мѣшалъ его занятіямъ. Никто не пробирался къ нему черезъ утесы и скалы.

Любопытствовали издали.

Онъ питался кореньями и дико растущими ягодами, пилъ воду изъ ключа, журчащаго около, и спалъ въ своей пещеркѣ. Цѣлыми днями бродилъ онъ по склону горъ, всматриваясь въ морскую даль, и если замѣчалъ какое-нибудь судно, начиналъ молиться и посылалъ ему свое благословеніе.

Рыбаки, отправляясь осенью на свой опасный промыселъ къ Θεодосійскимъ берегамъ, заѣзжали къ нему за благословеніемъ. Они какъ можно ближе подъѣзжали къ берегу и, покачиваясь въ своихъ челнокахъ на волнахъ вѣчно бушующаго здѣсь моря, ждали, пока батюшка покончитъ свою колѣнопреклонную молитву о нихъ и издали, съ горы, ихъ перекрестить. Весной, возвращаясь съ промысла, они опять заѣзжали къ нему, онъ благословлялъ ихъ и, казалось, пересчитывалъ число возвращающихся лодокъ.

Рыбаки вѣрили, что онъ помнитъ, сколько лодокъ отправилось къ какой стаѣ, и если онъ замѣчалъ убыль, тогда онъ плакалъ и молился еще горячѣе.

Молитва за „плавающихъ и путешествующихъ“ составляла его непрестанное занятіе. По утрамъ онъ спускался внизъ, на каменистый берегъ. Море говорило съ нимъ, и онъ понималъ море.

Съ тоской вслушивался онъ въ плескъ мертвой рыби и съ замираніемъ сердца молился за тѣхъ, кто гдѣ-то тамъ далеко, въ открытомъ морѣ, борется съ бушующей бурей. Среди выкинутыхъ за ночь на берегъ мертвыхъ дельфиновъ, водорослей и разноцвѣтныхъ ракушекъ онъ находилъ подчасъ обломки корабельныхъ досокъ, осколки мачтъ, обрывки просмоленныхъ веревокъ.

Эти страшныя находки говорили о драмѣ, разыгравшейся гдѣ-то тамъ, въ дали морского простора.

Какъ хищники, волны подхватили судно и унесли его въ открытое море. Какъ разбойники, онѣ кинулись на него, обрушились тысячами. ударовъ и раздѣлили свою добычу между собою на тысячи кусковъ. Онѣ играли доставшимися кусками добычи, дарили ихъ другъ другу. Старый сѣдой валъ, вдоволь наигравшись, принесъ свой кусокъ къ Аю-Дагу, выкинувъ его на берегъ, и, разсмѣявшись миллиардами брилльянтовыхъ брызгъ, ушелъ въ море за другою добычей.

За этотъ обломокъ, быть-можетъ, судорожно хватались посинѣвшія, холодѣющія руки, и батюшка молился за погибшихъ, „имена же ихъ, Господи, Ты вѣси“.

Цѣлые дни онъ наблюдалъ съ вышки, не забѣлѣетъ ли гдѣ парусъ, чтобъ благословить пловцовъ.

А вечеромъ, если море было спокойно, уходилъ на покой въ свою пещерку.

Если же море металось и ревѣло, онъ, вѣроятно, всю ночь стоялъ на колѣняхъ, служилъ панихиды и молебны.

По крайней мѣрѣ, тѣ, кого бушующія волны, застигнувъ врасплохъ, подносили къ утесамъ Аю-Дага, среди секунднаго затишья, которымъ смѣняется шумъ и ревъ бушующихъ волнъ, слышали доносившійся съ вѣтромъ съ берега одинокій старческій голосъ, пѣвшій святыя молитвы.

Такъ жилъ добрый старецъ вблизи вѣчно бушующаго моря.

Всегда бурливое, оно особенно реветъ и бушуетъ теперь въ святую пасхальную ночь. Старецъ, котораго

всѣ называли святымъ, выходилъ въ эту ночь на берегъ моря и служилъ пасхальную заутреню для покойниковъ моря.

Изъ безднъ морскихъ выплывали они и на хребтахъ поглотившихъ ихъ волнъ мчались къ утесамъ Аю-Дага.

Много ихъ было, внезапно погибшихъ, теперь приплывавшихъ услышать радостную вѣсть воскресенія.

Смѣльчаки, рѣшавшіеся пробираться поближе къ скаламъ, среди которыхъ старый священникъ пѣлъ заутреню, дорого платились за свое любопытство.

Они возвращались домой блѣдные, дрожащіе отъ страха, едва попадая зубъ на зубъ. Много „покойниковъ моря“ видѣли они. Покойники бѣлѣли на хребтахъ волнъ, безъ шума колыхавшихся у берега.

Смѣльчаки видѣли, какъ молились покойники, какъ кланялись они „земными поклонами“.

Когда же старичокъ-батюшка подходилъ къ самому берегу, такъ что маленькія прибрежныя волны, взбѣгавшія на камни, цѣловали его ноги, и громко, торжественнымъ голосомъ возглашалъ „Христось воскресе“, тогда поднимался внезапный шумъ среди стихнувшего моря.

— Воистину воскресе!—отвѣчали „покойники моря“.

— Воистину воскресе!—отвѣчали волны.

— Воистину воскресе!—отвѣчалъ весь безконечный водный просторъ, и далекія звѣзды, что ярко горятъ надъ моремъ, загорались еще ярче и отвѣчали своимъ свѣтомъ:

— Воистину воскресъ Христось!

Ихъ блескъ отражался въ волнахъ, и море сверкало отъ этихъ поцѣлуевъ звѣздъ съ волнами.

Затѣмъ все утихало.

„Покойники моря“ уплывали обратно въ глубокія бездны, чтобъ снова собраться сюда черезъ годъ въ ночь святого Воскресенія.

Такъ было изъ года въ годъ, насколько помнили отцы теперешнихъ стариковъ.

Но въ одну святую ночь на морѣ разразилась страшная буря.

Смѣльчаки, съ вечера забравшіеся на утесы Аю-Дага, видѣли, какъ метались „покойники моря“, словно снова переживая свою гибель, въ смертной тоскѣ, тщетно подплывая къ берегу и простирая свои блѣдныя руки.

Вопли и стоны слышались въ ураганѣ. Криками и тоскливымъ призывомъ раздражались вопли, требуя пасхальной заутрени.

Заутрени не было.

Не прозвучалъ съ берега торжественный и громкій возгласъ:

— Христось воскресе!

И съ тоскою попрыгали за тучи звѣзды, не сказавши своимъ блескомъ:

— Воистину воскресе!

До утра пробушевало море, и лишь подъ утро со скорбными воплями уплыли въ свои бездны „покойники моря“, не услышавъ радостной вѣсти.

Эти стоны слышали и этихъ покойниковъ видѣли рыбаки, запоздавшіе въ морѣ и пустившіеся въ путь въ святую ночь, потому что въ эту ночь море было всегда безопасно.

На этотъ разъ буря разбила въ стаѣ двѣ лодки, и когда утромъ рыбаки подплыли по обычаю къ уте-

самъ Аю-Дага, никто не показался на горѣ, никто не сосчиталъ возвращающихся лодокъ, никто не молился за погибшихъ рыбаковъ и не благословилъ оставшихся въ живыхъ.

Три дня тщетно все смотрѣли на то мѣсто, куда обыкновенно выходилъ праведный старецъ, а на четвертый нѣсколько наиболѣе смѣлыхъ и отважныхъ перелѣзли черезъ утесы и впервые вошли въ пещеру старца.

Они вернулись грустно и торжественно молчаливые. Праведнаго старца не стало.

Они набрали камней и ими заложили входъ пещеры, гдѣ съ сложенными въ крестное знаменіе перстами лежало его бездыханное тѣло.

Такъ похоронили праведнаго старца въ той же пещерѣ, гдѣ онъ жилъ и молился. Съ тѣхъ поръ каждую святую ночь страшная буря разражается на Черномъ морѣ. Плачетъ и стонетъ море у утесовъ Аю-Дага, тщетно дожидаясь пасхальной заутрени.

И не дай Богъ никому очутиться въ эту ночь въ открытомъ морѣ.

Волосы у него побѣлѣютъ отъ ужаса, когда онъ услышитъ въ ураганѣ стоны и рыданія и увидитъ мечущихся по волнамъ „покойниковъ моря“...

Тарханкутъ.

Тарханкутъ.

Мелкими волнами, какъ могильными холмиками, покрыто „морское кладбище“. Вдали, словно лампадка въ часовнѣ, построенной надъ могилой, мерцаетъ огонекъ маяка.

Было тихо, ясно, небольшая зыбь.

Пароходъ чуть-чуть покачивало.

Петьковъ взглянулъ на компасъ и оглядѣлъ горизонтъ.

Ярко освѣщенный электрическими лампочками съ рефлекторами, сверкающій большой компасъ слѣпилъ глаза.

Огромные, яркіе круги пошли въ глазахъ у Петькова, но черезъ нѣсколько минутъ глазъ привыкъ къ темнотѣ.

Было тихо и темно въ морѣ. На небѣ горѣли яркія звѣзды. Вдругъ одна изъ нихъ словно упала и за-жглась въ морѣ.

На горизонтѣ засвѣтился огонекъ.

Петьковъ весь превратился въ зрѣніе.

Огонекъ разгорался все ярче.

— Судно навстрѣчу.

Вотъ около огонька сверкнула красная искорка.

Рядомъ съ бѣлымъ загорѣлся красный огонекъ.

Петьковъ снова взглянулъ на компасъ.

Въ ярко освѣщенной, мѣдной отполированной чашкѣ огромная стрѣла дрожала въ томъ же направленіи.

— Курсъ вѣренъ.

Онъ снова взглянулъ на горизонтъ по направленію огонька.

Когда огромные яркіе желтые, красные, голубые круги прошли въ глазахъ,—онъ ясно увидалъ бѣлый и красный огоньки.

Разстояніе между ними теперь ужъ увеличивалось. Бѣлый огонь выше.

Огоньки увеличивались.

Вдругъ около нихъ мелькнула зеленая точка.

Петьковъ вздрогнулъ.

Вмѣсто двухъ горѣли, разрастаясь съ каждымъ моментомъ, три огня: зеленый, бѣлый и красный.

— Сбѣлись съ курса!

Онъ скомандовалъ:

— Право!

Боясь взглянуть на компасъ, который слѣпилъ глаза.

Красный огонекъ исчезъ. Въ темнотѣ ярко горѣли, приближаясь со страшной быстротой, зеленый и бѣлый.

— Что жъ это?!

Петьковъ крикнулъ:

— Право на бортъ!

Пароходъ вздрогнулъ. Вода зашумѣла кругомъ.

Бѣлый и зеленый огни, огромные, сверкающіе, неслись на пароходъ.

У Петькова захватило дыханіе.

Холодныя мурашки побѣжали по тѣлу.

Онъ чувствовалъ, какъ волосы словно зашевелились на головѣ.

— Что они? Съ ума сошли?

Онъ дернулъ веревку свистка.

Густой, ревушій гудокъ всколыхнулъ тишину моря, и словно съ эхомъ слился съ гудкомъ встрѣчнаго парохода.

Разъ, два...

— Два свистка...

Руки Петькова заостенѣли на рулевомъ колесѣ, за которое онъ схватился.

Вблизи вырисовывался огромный черный силуэтъ парохода, который несся съ бѣлымъ и зеленымъ огнями.

Петьковъ кинулся къ телеграфу машины, повернувъ ручку разъ, два.

Стопъ машина, задній ходъ.

Дзинь... Дзинь... Отчетливо, коротко, рѣзко прозвенѣлъ отвѣтный звонокъ машины.

Внутри парохода что-то запыхтѣло, заклокотало. Вода кругомъ заплѣнилась. Послышалось, какъ плещутся волны о бортъ.

На темномъ силуэтѣ встрѣчнаго парохода сверкнуло три огня,—зеленый, бѣлый и красный.

Его огромная масса выросла около самага борта.

У Петькова опустились руки.

Онъ подставилъ свой бортъ!

Петьковъ закрылъ глаза.

Раздался трескъ, и его сшибло съ ногъ. Откуда-то донесся крикъ.

Когда онъ вскочилъ, надъ нимъ возвышался свороченный на сторону бушпритъ парохода.

Кругомъ слышался трескъ разрушаемаго капитанскаго мостика.

Онъ видѣлъ только фигуру какого-то матроса, который карабкался на свороченный бушпритъ.

Онъ ли крикнулъ или другой кто, но только крикъ страшный, отчаянный, душу раздирающій, пронесся по пароходу, и ему отвѣтили вопли съ кормы, съ палубы, изнутри парохода, изъ каютъ.

Пароходъ завопилъ, какъ раненный на смерть.

Моментъ, — и встрѣчный пароходъ, разворачивая бортъ, съ трескомъ и оглушающимъ скрипомъ началъ выдергивать свой носъ изъ разбитаго имъ корпуса.

Какъ кинжалъ изъ раны въ сердце.

Среди воплей, какъ аккомпанементъ къ нимъ, снизу, изнутри парохода, послышался страшный, зловѣщій шумъ.

Шумъ вливающейся въ трюмъ воды.

Петькову показалось, что у него потемнѣло въ глазахъ.

Электричество погасло.

Темнота усилила панику.

Новый вопль ужаса вырвался у парохода.

Ничего, кромѣ воплей, которые неслись въ темнотѣ отовсюду.

Раздавались рядомъ, доносились изъ низу, съ лѣснаго, изъ каютъ...

Въ темнотѣ люди хватались другъ за друга, барахтались, отбивались и вопили, какъ будто уже погружаясь въ воду.

Около ногъ Петькова послышался голосъ капитана.

Капитанъ зачѣмъ-то взбирался на мостикъ по разрушенной наполовину лѣстницѣ и кричалъ безосмысленно, самъ не понимая, что онъ говоритъ:

— Спокойнѣе... Спокойнѣе... Никакой опасности...

Около мостика раздался какой-то мужской голосъ:

— Капитанъ, мы тонемъ!

Въ толпѣ слышались рыданія.

Сквозь вопли откуда-то доносился хриплый крикъ старшаго механика:

— Выходите изъ машины!.. Изъ машины выходите... Изъ машины!..

Выбѣжавъ первый, онъ спасалъ своихъ кочегаровъ.

— Свѣчей! Свѣчей!—кричалъ капитанъ въ пространство, перегнувшись черезъ перила мостика и не замѣчая стоявшаго рядомъ младшаго помощника, дрожащаго, перепуганнаго, который твердилъ только:

— Капитанъ... капитанъ...

Онъ твердилъ это, надѣвая, какъ слѣдуетъ, наскоро накиннутую курточку, дрожащими руками не попадая въ рукава, и, надѣвъ, вдругъ сорвался съ мѣста и чуть не кубаремъ полетѣлъ съ маленькой крутой лѣстницы, крича пронзительнымъ голосомъ:

— Фальшфейера... ракеты...

— Парусъ!—раздался крикъ на палубѣ.

— Сторонись!.. Пустите!.. Парусъ!..

Слышно было, какъ тащить по палубѣ что-то огромное, шуршащее.

— Пустите!.. Парусъ!.. Пустите!.. Гдѣ керосинъ!.. Несите сюда керосинъ!..

По палубѣ забѣгали огоньки зажженныхъ штормовыхъ свѣчей.

Откуда-то съ середины парохода съ шипѣніемъ огненной лентой высоко-высоко въ воздухъ взвилась ракета и разсыпалась на сотни сверкающихъ разноцвѣтныхъ искръ и захлопали римскія свѣчи.

На носу вспыхнулъ огонь облитого керосиномъ паруса и зловѣщимъ свѣтомъ освѣтилъ страшную картину ужаса, смятенія, поголовной паники.

При его свѣтѣ мачты казались какими-то висѣлицами, тѣни пріобрѣтали огромныя, чудовищныя очертанія, возбуждая еще больше ужаса.

Около мостика какой-то старикъ, ставъ на колѣни, обвязывалъ дрожащими руками спасательнымъ нагрудникомъ плакавшую дѣвочку и повторялъ только, когда метавшіеся по палубѣ ешибали его съ ногъ:

— Тише!.. Тише вы... Тише!..

Женщина въ разорванной рубашкѣ, въ короткой нижней юбкѣ, бѣжала куда-то на корму съ распущенными, развѣвающимися по вѣтру волосами и вопила:

— Петръ!.. Петръ!.. Петръ!..

— Вылѣзай изъ шлюпокъ!.. Вылѣзай изъ шлюпокъ!..—вопилъ какой-то матросъ.

Но его никто не слушалъ.

Хватаясь другъ за друга, наступая на плечи, на головы, падая, обрываясь, пассажиры лѣзли въ шлюпку, выведенную за бортъ, но еще висѣвшую на таляхъ.

Послышался крикъ, трескъ, стонъ, вопли отчаянія, ужаса.

Тали не выдержали, оборвались, шлюпка рухнула, перевертываясь, увлекая за собой болтавшихъ въ воздухъ руками и ногами людей.

— Потонемъ еще всѣ съ ними!—крикнулъ одинъ изъ матросовъ.—Айда къ шестеркѣ!

И матросы кинулись, расталкивая толпу, сбивая съ ногъ.

Шестерка закачалась на таляхъ.

Къ ней рвалась толпа.

Оттуда слышались вопли, крики:

— Пустите!.. Пустите!..

— Я женщина!..

— Ребенка!..

— Не бейте!..

Крики ужаса, боли, мольбы, отчаянія.

Кругомъ метались обезумѣвшіе отъ ужаса лица съ широко раскрытыми, сумасшедшими глазами, съ растрепанными волосами. Дрожащіе, полуодѣтые, раздѣтые люди, которые бѣжали отъ борта къ борту, отъ кормы къ носу и обратно, ища спасенія.

Около парохода замелькали огоньки шлюпокъ. Около бортовъ слышался плескъ воды отъ бросавшихся съ парохода людей.

Борьба, страшная, ожесточенная, отчаянная, на жизнь и смерть, кипѣвшая на пароходѣ, загоралась и около него, среди отплывавшихъ шлюпокъ и утопавшихъ, хватавшихся руками за борта, вотъ-вотъ готовыхъ опрокинуть шлюпку.

Словно какіе-то огромные поплавки, на поверхность всплывали черныя головы, захлебываясь, что-то кричали и исчезали въ набѣгавшихъ волнахъ, которыя душили ихъ съ сердитымъ ропотомъ, плескались о борта погибавшаго парохода и съ зловѣщимъ бульканьемъ вливались въ открытые отъ жары иллюминаторы.

— Да вѣдь это я... я... Петя, это я...—кричала, барахтаясь въ водѣ и хватаясь за бортъ шлюпки, жен-

щина, которую обезумѣвшій отъ ужаса мужъ билъ по рукамъ, крича:

— Опрокинете шлюпку!

Какая-то фигура показалась на реяхъ.

Кто-то лѣзъ на мачту, ища спасенія тамъ, оборвался мелькнулъ.

Послышался крикъ въ воздухѣ, хряскъ упавшаго тѣла, стонъ на палубѣ.

И среди этихъ воплей, криковъ, стоновъ доносились изнутри парохода трескъ и какой-то мучительный скрипъ.

Словно предсмертные стоны.

Пароходъ кормой погружался въ воду, все скорѣй и скорѣй.

— На носъ! На носъ! Съ кормы!—охрипшимъ голосомъ съ безумнымъ отчаяніемъ кричалъ капитанъ.— Бросай въ воду... руби доски!..

Послышался стукъ топоровъ.

При красномъ свѣтѣ пылающаго паруса матросъ, наотмашъ рубившій бортъ парохода и кричавшій: „Сторонись! берегись!“—представлялъ страшную, зловѣщую картину.

— Рубять... Топорами!—вскрикнула какая-то женщина и кинулась черезъ бортъ.

Все обезумѣли, никто ничего не понималъ. Люди съ подвязанными уже нагрудниками бѣгали по палубѣ, ища нагрудниковъ и зачѣмъ-то собирая ихъ по нѣскольку штукъ. Вырывали доски другъ у друга. Женщины вырывали у мужчинъ круги, вцѣпляясь ногтями, зубами въ ихъ руки.

Какъ вдругъ на кормѣ раздался новый, страшный вопль ужаса.

Трескъ—и корма ушла въ воду.

Пароходъ принялъ наклонное положеніе и погрузился въ воду все быстрѣе и быстрѣе.

По гладкой палубѣ поползъ какой-то тюкъ, все скорѣй и скорѣй, давя, сбивая съ ногъ, увлекая за собой попадавшихъ на пути.

Кругомъ царилъ адъ ужаса, смятенья, отчаянной борьбы за жизнь.

Съ носа все еще летѣли, разсыпаясь въ воздухѣ, ракеты, какъ послѣдніе вопли утопающаго.

„156 пассажировъ и 38 человѣкъ команды!“ вспомнился Петькову имъ же сдѣланный контроль билетовъ.

Онъ стоялъ на мостикѣ, въ самомъ центрѣ этого ада, неподвижный, словно зачѣнѣвши, глазами полными ужаса, глядя на страшныя сцены, разыгрывавшіяся передъ нимъ, вокругъ него.

Онъ ждалъ гибели вмѣстѣ съ 156 пассажирами и 38 человѣками команды, которые гибли, быть-можетъ, благодаря его ошибкѣ.

Онъ не зналъ, кто виновать.

Онъ ли сбился съ курса, тѣ ли неправильно шли, но онъ далъ задній ходъ и задержалъ ходъ, подставивъ свой бортъ.

И онъ гибнетъ вмѣстѣ съ 156 пассажирами и 38 людьми команды.

Онъ стоялъ, не замѣчая даже, что положилъ руку на спасательный кругъ, висѣвшій на перилахъ капитанскаго мостика.

Онъ не видѣлъ ничего около себя. Онъ смотрѣлъ на ту черную, плескавшуюся бездну, гдѣ черезъ нѣсколько минутъ будетъ онъ со всѣми.

Что-то дернуло его руку.

Какая-то женщина, взобравшись на мостикъ, схватилась за кругъ.

— Дѣти мои!.. Дѣти!..—кричала она.

И вдругъ ему вспомнилась его жена, его дѣти.

Они мелькнули предъ нимъ среди этого ада, какъ живые.

Среди стонѣвъ, воплей, криковъ онъ услышалъ плачъ своего маленькаго сына.

Голова у него пошла кругомъ.

Онъ поднялъ кулакъ, сильнымъ ударомъ отбросилъ кричавшую женщину и просунулъ голову въ спасательный кругъ.

Все завопило кругомъ.

Умиравшій пароходъ издалъ послѣднй, отчаянный вопль смерти и скрылся подъ водой.

Его смыло, схватило, понесло, закружило.

Вода залила носъ, уши, горло; онъ задыхался и слышалъ надъ собой похоронный колоколъ... Разъ... Два...

Петьковъ проснулся.

Утомленный непосильной работой, онъ спалъ, склонившись надъ огромной, сверкающей чашей компаса.

— А? Что?..

Огромный компасъ, освѣщенный яркими электрическими лампочками съ рефлекторомъ, ослѣпилъ зрѣніе.

Въ глазахъ шли красные, голубые, огненные круги.

Петьковъ не видѣлъ ничего.

— Пароходъ по носу! Пароходъ по носу!—кричалъ боцманъ, самъ только что проснувшійся и ударившій въ колоколъ.

Петьковъ чувствовалъ, что у него морозъ пробѣгаетъ по кожѣ и шевелятся волосы на головѣ.

А передъ глазами все еще мелькали огненные, разноцвѣтные круги, — какъ вдругъ среди нихъ онъ увидѣлъ несшіеся прямо на пароходъ зеленый, бѣлый и красный огни.

— Право на бортъ!— крикнулъ было онъ, но оглянулся, увидѣлъ, что рулевой спитъ, облокотившись на колесо, самъ повернулъ руль, кинулся къ телеграфу и повернулъ ручку:

— Полный ходъ впередъ!

Дзинь,—раздалось изъ машины.

Вода закипѣла кругомъ, пароходъ покачнулся, вздрогнулъ, — и бортъ о бортъ съ нимъ, сверкая своимъ краснымъ огнемъ прошелъ съ шумомъ, встрѣчный грузовой пароходъ.

Оттуда слышались свистки, крики матросовъ, ругательства.

Петьковъ разобралъ только:

— Dogmo... diavolo...

И стоялъ дрожа всѣмъ тѣломъ, крестясь и повторяя:

— О Господи!..

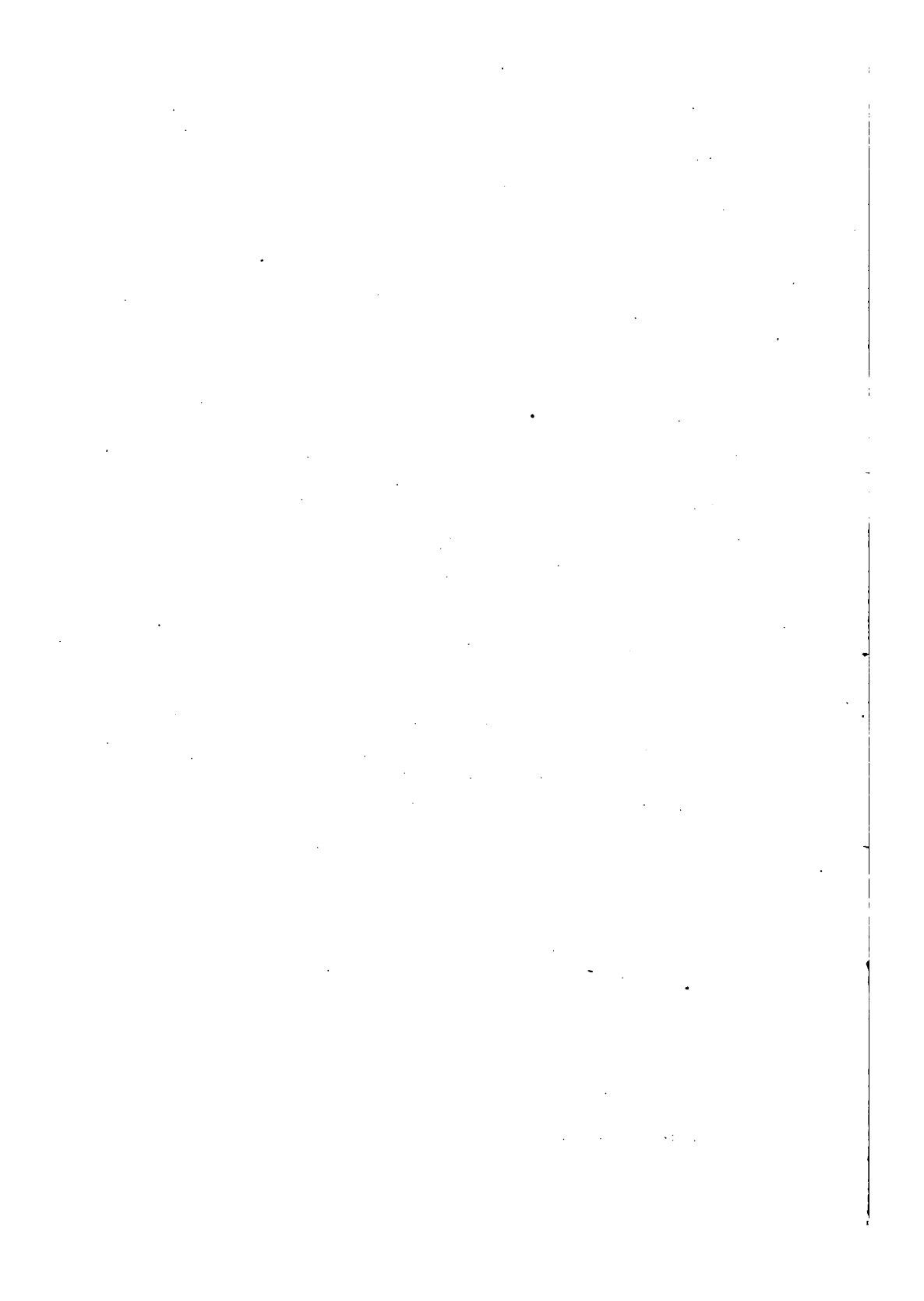
Мелкими волнами, какъ могильными холмиками покрыто „морское кладбище“.

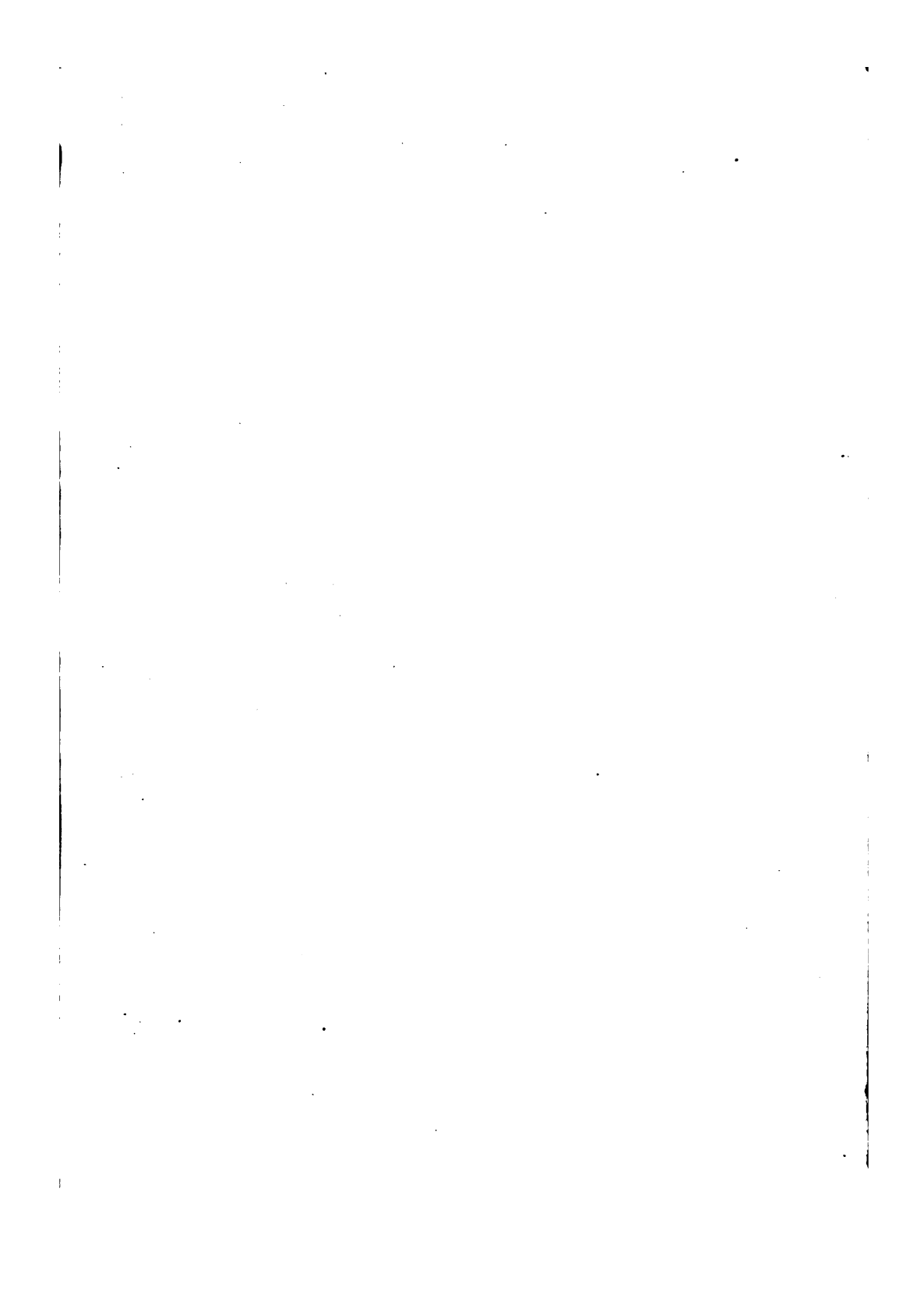
Вдали, словно лампадка въ часовнѣ, мерцаетъ огонекъ маяка Тарханкута.



ОГЛАВЛЕНИЕ.

	<i>Стр.</i>
Путевые наброски	5
Ялта	15
Проводникъ	29
Послѣдніе лучи	45
Дочь сѣвера	69
Мужъ	77
Счастье	95
Послѣдній романъ	108
Первый поцѣлуй	121
Сѣдые волосы.	129
Сирень	145
Панно	159
Вечерняя молитва	173
Покойники моря	185
Тарханкутъ	193







KG 3460
067
1905
v. 3

**Stanford University Libraries
Stanford, California**

Return this book on or before date due.

--	--	--

